

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 16

1985



Николай ДМИТРИЕВ

*ТЕНИ
ПРОШЛОГО*

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 16

Николай ДМИТРИЕВ

ТЕНИ ПРОШЛОГО

**ВОСПОМИНАНИЯ
СТАРОГО МОСКОВСКОГО ПИСАТЕЛЯ**

**Москва. Издательство «ПРАВДА»
1985**

Николай ДМИТРИЕВ

(1888—1960)

Н. Д. Дмитриев родился в Москве, в семье популярного в свое время исторического писателя и драматурга Д. С. Дмитриева. Окончил Московское реальное училище, затем поступил на юридический факультет Московского университета. Одновременно Н. Д. Дмитриев был ведущим актером фольклорного театра «Трагический балаган».

В 1911 г. Дмитриев вступает в труппу «Русского драматического театра» Ф. А. Корша.

В 1916 г. А. И. Южин предложил Н. Дмитриеву перейти в Малый театр, но этому не суждено было осуществиться, т. к. Дмитриев был призван в действующую армию и отправлен на фронт в качестве вольноопределяющегося. После Февральской революции Дмитриев работал в банковских учреждениях г. Москвы.

После Октябрьской революции Дмитриев был включен в правительственную комиссию по изъятию банковских ценностей.

В 1919 г. Н. Д. Дмитриев вступает добровольцем в ряды Красной Армии.

Здесь Дмитриев последовательно занимал ответственные должности: начальника снабжения 9-й армии, начальника военно-снабженческой инспекции Республики и после тяжелой контузии — начальника информационно-издательского отдела Главснабпродарма.

После окончания гражданской войны Н. Дмитриев становится профессиональным литератором. Им написаны пьесы «Село Михайловское», «Кремнистый путь», «Томмазо Кампанелла», «Под Москвой» и др.

В 1940 г. Дмитриев был принят в Союз писателей СССР.

«Седина это нити, из которых смерть тклет нам саван», — писал Альфред де Мюссе. Мы, советские люди, не смотрим, конечно, так меланхолически на свои седые волосы, но, когда их появляется на нашей голове слишком много, хочется и нам оглянуться на прошлое, «подвести, так сказать, баланс» своего долгого жизненного пути. И вот я сижу сейчас у открытого окна, в глубоком старомодном кресле, вспоминая то, что было и прошло, безвозвратно прошло, навсегда.

Когда-то я был другом и личным секретарем своего отца, старого московского писателя, современника А. Н. Островского, А. И. Южина-Сумбатова, Шпажинского, Аверкиева, Василия Ивановича Немировича-Данченко, Чаева, Неvejeина, Мясницкого (Барышова) и многих других популярных писателей конца прошлого века. Встречал я в кабинете отца и Антона Павловича Чехова. Но обо всех его литературных знакомствах я скажу несколько позднее, сейчас же мне хочется рассказать кое-что из нашей безызыскной семейной хроники.

Мой дед, офицер одного из московских полков, был, по словам отца, убежденным «вольтерьянцем» своего времени. В памятные дни декабрьского восстания 1825 года он попытался вывести на улицу с революционными лозунгами свой вооруженный батальон, но из его «смелой затеи», к сожалению, ничего не вышло — дед был арестован и приговорен к смертной казни, замененной впоследствии разжалованием в рядовые. Он был отправлен на далекий Кавказ для покорения «мятежных горцев». После тяжелой контузии деду разрешили вернуться в Москву, предполагая, очевидно, что он должен скоро умереть. Но дед не только не умер, а удачно занялся коммерческими операциями и в конце концов стал настолько популярен среди «деловых» кругов Москвы, что в середине прошлого века его выбрали почетным мировым («совестным») судьей. Интересно отметить, что в 1843 году на службу в «Московский совестный суд» был зачислен А. Н. Островский.

Коммерция, однако, не могла удовлетворить духовных запросов старого декабриста, он стал увлекаться литературой того времени и даже несколько меценатствовал в этом направлении. Семейная легенда с благоговением рассказывает о том, как его время от времени посещал «длинноносый» писатель, в традиционной шинели с длинной

пелериной. Это был Н. В. Гоголь, приходивший читать деду свои украинские повести, а также просивший у него материальной поддержки для многих молодых писателей.

Поздней дед купил за Дорогомиловской заставой небольшое хорошо налаженное имение с водяной мельницей. Оно было на полпути от Москвы до села Ильинского, где в летние месяцы проживали какие-то великие князья. Отец любил рассказывать о том, как в годы крестьянских реформ к деду, верхом на сером арабском коне, без всякой свиты иногда заезжал Александр II, направлявшийся в Ильинское. О чем они говорили, отец, конечно, не знал, но он хорошо запомнил каприз царя, любившего скакать на лошади от преследования огромных дедовских овчарок. Их держали за ошейники рабочие с мельницы до тех пор, пока царь не сядет на коня и не махнет рукой в приспущенной белой перчатке со словами: «Пускайте собак!» Разъяренные собаки с остервенелым лаем кружились вокруг ног мчавшегося породистого коня, а царь хлестал их нагайкой и весело смеялся. Зачем нужен был коронованной особе незначительный гвардейский офицер, да еще с революционным прошлым, отец, конечно, не знал, но говорили они, очевидно, о крестьянских реформах, так как в памяти отца сохранился примерно следующий диалог деда с его рабочими.

— Савватий Дмитриевич, батюшка, не говорило его царское величество о воле? — с разгоряченными, возбужденными лицами спрашивали рабочие.

— О воле? — Дед при этих словах широким жестом указывал на небо. — Вольны небесные птицы, а мы, земные люди, ходим со скрученными руками и ногами...

— Как же это так?

— А вот как, братцы, наша воля в двадцать пятом году мимо нас пролетела, теперь ее ждать не приходится.

И, низко опустив седую голову, старый декабрист медленно плелся в свои апартаменты, ничуть, очевидно, не польщенный визитом своего высокого гостя.

Своим многочисленным сыновьям дед, к сожалению, не сумел привить политические идеалы декабристов, ему усиленно мешала в этом его жена, принадлежавшая, кстати сказать, к именитому московскому купеческому роду Юрасовых. В общем, братья моего отца больше всяких книг и гуманистических идей любили бравурные куплеты шансонетных певиц или ухарские песни цыганок из знаменитого московского «Яра». Деду часто приходилось оплачивать за них большие счета загородных ресторанов, причем главными статьями этих счетов было традиционное в то время битье дорогих ресторанных зеркал.

Между тем начавшаяся на Кавказе грудная болезнь деда развивалась все сильнее и сильнее, и в конце концов он умер поздней

осенью 1870 года. Похороны старого декабриста, ставшего московским «совестным судьей», были очень торжественны, с архиереем и пышно наряженными синодальными певчими, но с его смертью кончилось материальное благополучие моих непутевых дядей: они быстро прокутили оставленное им наследство, не выделив ничего своему младшему брату, моему отцу.

Чуждый до конца своих дней всякого стяжательства, отец нисколько не горевал об этом, он пошел по другому пути и поступил вольнослушателем в Московский университет. Там он встретился с полугодной студенческой богемой, презрительно относившейся ко всяким ресторанным идеалам. Чтоб увеличить свой скудный бюджет, отец устроился «подавалой» в университетскую библиотеку. Здесь, в море книг и старинных рукописей, у него впервые зародилась дерзкая мысль о собственном сочинительстве. В умах передовой московской интеллигенции того времени наряду с Пушкиным, Гоголем, Белинским и Некрасовым безраздельно господствовал великий драматург А. Н. Островский. Отец систематически недоедал, чтоб сэкономить несколько лишних рублей на покупку книг или билетов в Малый театр. В начале 80-х годов, после небольшого рассказа «Ведунья», опубликованного в 1878 году желтовским журналом «Спутник», он написал свою первую комедию, напечатанную в журнале «Театральная библиотека», издававшемся И. Л. Шаповаловым.

Молодой драматург решил показать эту вещь своему кумиру А. Н. Островскому, проживавшему тогда в районе Арбата, на Сивцевом Вражке. Несколько дней ходил отец около ветхих деревянных ворот заветного особняка, не решаясь вызвать для предварительных переговоров домового дворника. Наконец он набрался храбрости и позвонил. Калитку открыл заспанный и не совсем трезвый Аргус великого драматурга. Окинув опытным оком юного писателя с рукописью в дрожащих руках, он важно спросил:

— Сочинитель, что ли?

— Да-с, собственно, нет,— растерянно залепетал отец,— так, знаете ли, маленький опыт... Мне бы к Александру Николаевичу.

— К Александру Николаевичу? — Дворник критически посмотрел на заплатанную обувь отца и решительно сказал: — Александр Николаевич читает по выбору, нешто ему можно все прочесть, к нему ваш брат валом валит.

— А кто выбирает, секретарь какой-нибудь?

— Не секретарь, а я. Александр Николаевич завсегда у меня спрашивает: «Как думаешь, Силантий, стоит читать эту писанину или не стоит?» Ну, а я, конечно, свои интересы соблюдаю: кто мне подбросит двугривенный,— стоит, говорю, а ежели не подбросит,— нет, говорю, Александр Николаевич, по всему видать, человек нестоящий, нечего вам на него время тратить.

Отец, конечно, «подбросил двугривенный», и с этого курьезного момента началось его многолетнее знакомство с А. Н. Островским. Впоследствии А. Н. Островский предложил отцу наряду с прочими московскими драматургами и композиторами принять активное участие в организации «Всероссийского общества драматических писателей и оперных композиторов». «Общество» было официально разрешено Петербургом, и это еще более сблизило отца с великим русским драматургом. Однажды, уже поздней, он приехал к отцу вместе со своей женой, урожденной Бахметьевой. «Вот что, сударыня,— сказал он матери с присущей ему беспечной веселостью,— вы молодая, и моя жена молодая, вы умеете хорошо шить белье для своих ребят, а родители моей жены торгуют на Никольской готовым бельем, словом, у вас много общих идеалов, дружите по гроб жизни».

К сожалению, матери не по плечу была дружба с богатой купеческой дочкой, женой знаменитого драматурга. Их бытовая обстановка была слишком различна: мать с головой ушла в свою большую семью, не всегда достаточно обеспеченную... А жена Островского любила шикарные туалеты и дорогие светские развлечения.

Литературная деятельность отца не ограничилась одной драматургией. Зашедший в университетскую библиотеку И. И. Забелин посоветовал ему писать исторические очерки и повести.

— У вас здесь столько драгоценного материала для этого! — мягко сказал он, посмотрев влюбленными глазами на бесконечные полки книг. И. И. Забелин угадал сокровенные мысли отца; слушая в университете лекции знаменитого профессора, историка С. М. Соловьева, отец давно уже мечтал познакомить широкую русскую публику с ее далекой стариной. В конце 80-х годов он начал писать исторические повести и романы, следуя незамысловатым методическим приемам Лажечникова, Загоскина и отчасти Салиаса; Мордовцев ему не нравился, он считал его несколько сухим. Одновременно с этим отец писал много веселых сценок из хорошо знакомого ему купеческого быта.

В этой области успешно подвизались тогда Лейкин и Мясницкий (Барышов). Старая Москва любила весело посмеяться и с удовольствием читала свои юмористические журналы «Свет и тени», также «Развлечение» А. В. Насонова. Юмористические журналы вообще были в большой моде в то далекое время, в них начал свою литературную деятельность А. П. Чехов под незатейливо шутовским псевдонимом Антоши Чехонте. Кто из любителей литературной старины не знает о существовании в конце прошлого века «Стрекозы», «Осколков», «Зрителя», «Будильника» и прочих юмористических журналов, сохранивших до наших дней свою историко-литературную ценность благодаря участию в них Антоши Чехонте!

К сожалению, общий характер этих журналов был довольно однообразен и специфичен, в них бесконечно высмеивались злые тещи, злополучные дачные мужья, подгулявшие купчики и пр. Пользуясь полной свободой печати в этом направлении, некоторые редакторы подобных журналов прибегали иногда к беззастенчивому шантажу для пополнения своих касс. Так, Н. Н. Саедов, ставший в 1881 году после А. В. Насонова редактором «Развлечения», написал однажды пасквильную статью на одну из московских игумений, настоятельницу богатого Вознесенского монастыря. Статья была набрана в типографии, и с печатными гранками Н. Н. Саедов приехал к злополучной жертве своих «коммерческих операций».

— Я должен огорчить вас, матушка,— скорбно сказал он игуменье, приняв от нее благословение.

— Что такое, сударь? — тревожно насторожилась игуменья.

— В ближайшем номере «Развлечения» будет опубликовано кое-что о вашей святой обители...

— О нашей обители?! — испуганно пролепетала «матушка», предчувствуя что-то недоброе для репутации своего монастыря,— мы люди смиренные, иноки божии, о нас нечего писать в ваших журналах.

— Долг гражданина, знаете ли, представителя, так сказать, отечественной прессы...

— Какой такой долг?

— А вот этот самый! Извольте прочитать, ваше преподобие.

И Саедов передал игуменье гранки статьи, которая, конечно, никогда бы не была напечатана. Игуменья, прочитав статью, побледнела от ужаса.

— Господи, спаси и сохрани,— чуть слышно прошептала она, возвращая гранки дрожащими руками.— Неужто это будет напечатано?! Да ведь этого вовсе не было в нашей обители, это, батюшка, не статья, а бесовское наваждение, козни самого Вельзевула. Кто ее сочинительствовал-то?

— Очеркист Евграфов.

— Крещеный человек, христианин?

— Ну, конечно. Да вы не огорчайтесь, мать игуменья, мы можем не пропустить статью, только вам придется оплатить кое-какие расходы: ну, скажем, гонорар Евграфову, корректорские расходы, типографский набор и прочее.

Дело кончилось тем, что игуменья, кряхтя и охая, достала из заветной шкатулки несколько сот рублей и вручила их Саедову «для покрытия редакционных издержек». История эта, впрочем, не обошлась безнаказанной для Николая Николаевича: московский обер-полицмейстер, узнав о его проделке, выслал Саедова на три года из Москвы. Такая «мера пресечения», кстати сказать, часто практиковалась в «полицейском кодексе» старой Москвы. Однако предприимчи-

вый Саедов и здесь нашел нечто выгодное для себя: из Москвы он, конечно, никуда не уехал, а только перестал показываться днем в общественных местах, по вечерам же, театрально замаскированный, он обходил своих многочисленных знакомых, гордясь новой для себя ролью «опасного карбонария». Личность Н. Н. Саедова была довольно своеобразна.

В его приемной постоянно находились какие-либо обездоленные люди: спившиеся чиновники, бедные вдовы, проигравшиеся дотла картежники и пр. Все они приходили к Н. Н. за ежемесячной «субсидией», и трудно сказать, что он делал больше: обирал игумений или помогал бедным.

Печатный шантаж вообще был типичен для многих журналов и газет того времени. Издатель Пастухов настолько прославился «обличительными» статьями своего «Московского листка», что даже «уличные мальчишки» дразнили друг друга следующим выразительным образом: «Сплетник-газетник «Московский листок». «Московский листок» действительно часто сплетничал на отказавшихся платить ему «денежную дань» крупных торговцев, а иногда даже и лавочников среднего калибра. В таких случаях газета сообщала на своих страницах о продаже в том или ином магазине тухлых продуктов, о систематическом обсчитывании и обвешивании покупателей и пр. и пр. Это, конечно, подрывало коммерцию торгового люда, и смирившиеся коммерсанты безропотно пополняли кассу бульварной московской газетки.

Денежное «субсидирование» газет и журналов практиковалось даже в сфере прекрасной Мельпомены. Многие положительные театральные рецензии этого времени оплачивались авторами пьес или директорами театров. Я сам видел в записной книжке талантливого режиссера М. М. Бонч-Томашевского, во что ему обошелся успех так называемого «Трагического балагана», театра, поставившего себе задачей в начале этого века художественную инсценировку русского лубка. Чтоб положительно оценивать это прекрасно начатое дело, почти все московские газеты потребовали соответствующую мзду у злополучного постановщика. Характерно, что в этой скверной истории участвовала и «профессорская» газета «Русские ведомости», ставшая впоследствии наряду с петербургской «Речью» основной цитаделью кадетской партии. К сожалению, не от одних газет пришлось откупаться тощей кассе молодого театра; потребовали свою долю и цензурные комитеты и вообще чиновники, имевшие какое-либо отношение к театральным представлениям. В итоге «Трагический балаганчик» дал всего только три спектакля и, несмотря на материальную поддержку молодыми меценатами Журиными, вынужден был прекратить свое существование.

Что касается легальных доходов московской прессы того времени, они заключались главным образом не в подписной плате, а в де-

нежных взносах за печатную рекламу каких-либо торговых предприятий, лечебных заведений или просто спекулятивно-мошеннических средств: «Для выращивания волос», «Приятности лица» и пр. и пр. Широко практиковались и рекламы «лирического характера». В них сообщалось, что какая-нибудь «интересная брюнетка или блондинка ищет места экономки у одинокого мужчины». В случае надобности данная особа обещала прислать свою фотографическую карточку. Поздней для этих целей возникла специальная «Брачная газета», она занималась не только сводничеством или сватовством, но и романтически описывала в своей хронике пышную церемонию свадеб, состоявшихся благодаря ее рекламе.

Текст рекламы составлялся не только в прозе или в стихах, но часто даже в форме каких-либо философских сентенций. Авторами его были большей частью неудачливые поэты, томные новеллисты с длинными волосами и, наконец, просто остапы бендеры, жаждавшие пополнения своей казны в любой области и любыми средствами.

Купцы знали «корифеев» этого дела и в каком-нибудь китайском трактире за графином водки заставляли их писать для своей фирмы самые изощренные рекламные вирши о том, например, что «ни один лев не изорвет брюк, сшитых у Заглухинского, что от их внешнего фасона придет в восхищение всякая дамская персона». Тут же, на столе, залитом водкой и пивом, неоперившиеся художники набрасывали соответствующие иллюстрации. Романтично рекламировалось и дожившее до нашего времени слабительное пурген: из-за изящной китайской ширмочки на публику смотрело приятно улыбающееся лицо очаровательной дамы, испытывающей, очевидно, на себе «легкое и нежное действие пургена». Под рисунком стихи:

От всякого запорного плена
Вас спасут пилюли пургена.
Слабит легко и нежно,
Выздоровление от них неизбежно.

В большой моде были и объявления явно мошеннического характера. Их заказывали московским газетам и журналам по почте из каких-либо отдаленных городов, например, Лодзи, Варшавы или Риги. В этих рекламках сообщалось, что всего за три рубля желающий может получить наложенным платежом соблазнительный комплект предметов, состоящий из «изящных карманных часов, безопасной бритвы, кожаного портмоне и даже полного письменного прибора». Далекие от Москвы комбинаторы, конечно, никому ничего не высылали в расчете на то, что никто из обманутых ими простаков не поедет в Лодзь или в Варшаву, чтоб вернуть обратно свои три рубля. Следует заметить, что юрисдикция того времени не предусматривала никакой борьбы с подобными жульническими проделками. Не запрещали

и псевдонаучные рекламы, в которых сообщалось, что какой-нибудь «профессор хиромантии» или даже «черной магии» всего за один рубль может разгадать судьбу любого читателя газеты, в строгом соответствии с его небесным гороскопом.

На особенно широкую ногу поставил печатную рекламу своего предприятия популярный в начале этого века ресторатор «Мартьяныч». Его ресторан занимал почти весь подвальный этаж современного ГУМа и славился у москвичей своей необыкновенной кухней. Здесь были и горячие блины с паюсной икрой, и настоящие сибирские пельмени, и московский молочный поросенок с гречневой кашей, и морские устрицы, и английский виски, и венгерская «малага», и даже свежая клубника в самый разгар декабрьских морозов. Большую роль в популярности этого гурманского рая сыграли рекламные поэмы, которые Мартьяныч систематически печатал в сытинском «Русском слове», а также в других московских газетах и журналах. Автор этих поэм — некий «Дядя Михай» — стал своего рода знаменитостью у московской трактирной публики, но никто, однако, не знал подлинного имени этого, безусловно, талантливого человека, спившегося в конце концов от своей специфической литературной славы.

Таковы были рекламы, печатавшиеся в московских газетах на заре текущего века. Своеобразно с современной точки зрения было и самое содержание газет. Оно носило на себе специфический отпечаток своего бесправного, политически незначительного времени. Достаточно сказать, что до первой русской революции почти ни одна легальная газета не имела каких-либо идейных установок, а руководствовалась главным образом дешевыми вкусами так называемой «широкой публики». В итоге содержание газет, помимо рекламных объявлений и свирепо цензурированной зарубежной информации, сводилось к мещанским антихудожественным романам, уличным происшествиям и подробному описанию уголовных преступлений. Последние не меньше рекламных объявлений увеличивали розничную продажу газет, в силу чего репортерский талант того или иного сотрудника расценивался иногда выше подлинного литературного дарования какого-либо очеркиста или фельетониста, не пользовавшихся в своем труде крикливыми сенсациями уголовной тематики.

В этой специфической обстановке возникла острая конкуренция газет, каждая из них старалась как можно раньше и как можно подробнее сообщить своим читателям о том или ином уголовном преступлении, причем текст этих городских сенсаций сопровождался многочисленными фотоснимками в духе иллюстраций современных детективных романов капиталистического Запада. Чтоб получить пальму первенства в этом своеобразном финише, газетные репортеры входили иногда в контакт с полицией, платя ей крупные суммы

за срочное сообщение о каком-либо кровавом городском происшествии. Здесь невольно напрашивается грустная аналогия с деятельностью юрких агентов многочисленных в Москве «бюро похоронных процессов».

Узнав о тяжелой болезни какого-либо богатого москвича, агенты являлись с «черного хода» в квартиру больного и заключали с его «прислугой» своеобразный «джентльменский договор», по которому «прислуга» обязывалась немедленно сообщить в бюро о смерти своего хозяина или хозяйки, а бюро платило ей за это 5 и даже 10 рублей. Впрочем, и газетные репортеры получали иногда доход от смерти знатных москвичей, пространно описывая их торжественные похороны, с архиереем, знаменитым протодьяконом и популярным в Москве хором синодальных певчих. Пышно описывали они и «веселые московские события», например, свадьбу какой-нибудь именитой купеческой дочери с прогоревшим титулованным лейб-гусаром или, наоборот, торжественное бракосочетание престарелого сановника с бедной невестой, только что кончившей «Сиротский институт благородных девиц». Пробирались юркие репортеры и на великосветские балы в «благородном дворянском собрании» (ныне Дом союзов), давая на другой день в своих газетах подробные отчеты о необыкновенных туалетах и ослепительном блеске ювелирных украшений знатных московских красавиц.

В деле газетного репортажа особенно популярен был В. А. Гиляровский, справедливо прозванный широкой московской публикой «королем репортеров». В. А. действительно был своеобразным королем своего дела, он являлся иногда на места происшествий раньше полиции и следственных властей. В Москве говорили, будто сысканая полиция в запутанных уголовных случаях часто обращалась за советом к Гиляровскому, и В. А. нередко наводил «блуждителей порядка» на верные следы, настолько хорошо он знал специфические нравы и воровские приемы московских преступников, прятавшихся от полиции в знаменитых «хитровских» ночлежках. Огромная физическая сила Гиляровского делала его неуязвимым во время его исследовательских экскурсов в мрачные воровские притоны. В конце прошлого века перед постановкой горьковской пьесы «На дне» В. А. познакомил постановщиков и ведущих артистов театра с бытом завсегдатаев «хитровских» ночлежек. Здесь были зарисованы и соответствующие декорации спектакля. Гиляровский часто бывал у моего отца и, если не заставал его дома, спрашивал у горничной железную кочергу.

— Зачем она вам, сударь? — лепетала изумленная горничная. Странный гость сгибал своими мощными руками кочергу в кольцо и весело говорил:

— Передай это хозяину вместо моей визитной карточки. Иногда он давал ей с такими же словами изогнутый им серебряный рубль. В. А. наряду со своей репортерской деятельностью занимался и поэзией, и был в этом отношении неплохим импровизатором. Так, весной 1903 года, придя к моему отцу, он увидел на столе массивный серебряный альбом, поднесенный ему в день его 25-летнего литературного юбилея редакцией «Новости дня». Гиляровский взял альбом и, не прерывая разговора, экспромтом написал в нем следующие дружеские строки:

Я уезжаю на Балканы,
Прощаюсь, милый друг, с тобой,
Но знай одно: твои романы
И там останутся со мной.
Я, душу русскую любя,
Там буду вспоминать тебя.

Мне пришлось прочесть немало интересных стихотворных экспромтов В. А., большей частью на злобу дня, хотя как поэт он не был популярен.

Другим выдающимся московским репортером был Опочинин. Он не ограничивался в своем репортаже внешним описанием городских преступлений, а стремился раскрыть их психологическую сущность. Неплохо владея литературным языком, Опочинин писал свои репортерские очерки в форме уголовных новелл, часто даже в духе Эдгара По. Я до сих пор помню два его газетных очерка. В одном из них говорилось об убийстве гимназистом 8-го класса своей мачехи, жены известного в Москве ресторатора Мартьяныча; в другом — об убийстве адвокатом Прасоловым своей жены. Оба эти преступления своей мрачной трагичностью нарушили безмятежное спокойствие старой Москвы. В роковом поступке гимназиста было что-то патологическое. Он не мог перенести любви отца к новой жене, мачехе юного преступника. Нервно возбужденному юноше казалось, что этим глубоко оскорблена память его безвременной скончавшейся матери, первой жены Мартьяныча.

И вот, застав свою мачеху в будуаре, где она наряжалась для торжественного выезда на какую-то богатую купеческую свадьбу, гимназист выстрелил в ее декольтированную спину из охотничьего ружья; патрон был заряжен так называемым «медвежатником», и молодая женщина была убита наповал.

Второе преступление, описанное Опочининым, было также нерядового характера. Некоторые сопоставляли его до известной степени, конечно, с сюжетом «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого. Заключался он в следующем.

Знаменитый тенор Большого театра Д. Смирнов увлек своими словымиными трелями экзальтированную жену молодого адвоката Прасолова. Их роман был настолько очевиден, что о нем знали все, кроме самого Прасолова. Один из его друзей после ряда отдаленных намеков, не понятых Прасоловым, прямо сказал ему, что он может лично убедиться в неверности жены, если поедет сегодня в ресторан «Яр» и войдет в кабинет, занятый певцом и его страстной поклонницей. Злополучный супруг, после некоторых душевных колебаний, решил последовать роковому совету; приехав в «Яр», он неожиданно вошел в кабинет, где счастливая пара беспечно пила шампанское. Увидав в дверях бледного Прасолова, самоуверенный певец не растерялся и продолжал демонстративно любезничать с его женой, но когда Прасолов вынул револьвер, мужество покинуло Смирнова, и он трусливо спрятался за спину любовницы. Она оказалась смелее своего кумира и, поднявшись с дивана, вызывающе сказала мужу: «Если вы решили сегодня кого-нибудь убить, то убивайте меня!»

— Вы его любовница? — спросил адвокат.

— Да.

Прасолов выстрелил, и молодая женщина упала на пол, а знаменитый тенор, несмотря на свой гигантский рост, с невероятной ловкостью скользнул под рояль и оттуда выбежал в общий зал ресторана.

Что касается несчастной Прасоловой, она была некоторое время романтической героиней старой Москвы; о ней много говорили, много писали, некоторые поэтессы посвятили ей свои стихотворения.

Нечего, конечно, и говорить, как широко использовали московские газеты преступления Прасолова и гимназиста. Оба эти убийства совершены были в начале текущего века, после первой русской революции. Газеты в эти далекие годы несколько осмелели, их не всегда удовлетворяла мещански-обывательская тематика периодической прессы конца прошлого века. Поэтому некоторые из московских газет подошли к преступлениям Прасолова и гимназиста не только с криминальной или моральной стороны, но даже и с социальной точки зрения. Впрочем, и в девяностых годах, еще до Первой русской революции, московская газета «Курьер» попыталась передать своим читателям крайне злонамеренную с точки зрения царской цензуры информацию. Так, в одном из номеров 1892 года, подробно описав на первой странице блестящий придворный бал в Зимнем дворце, она тут же поместила мрачную корреспонденцию об умирающих от голода крестьянах Центральной России. Петербург сделал редактору газеты «серьезное внушение» по этому поводу, но «дерзкая газета» пошла еще дальше: публикуя в 1894 году правительственное сообщение о «В бозе почившем императоре Александре III», она в конце номера

поместила медицинскую справку о вреде пьянства. Намек был слишком очевиден, так как пристрастие Александра III к спиртным напиткам было всем хорошо известно.

Подобные смелые выступления были, конечно, исключением для московской прессы, большинство газет и журналов того времени ограничивалось безопасной для себя «лояльной тематикой». Таковы были: «Русская газета», издававшаяся Желтовым, «Современные известия» Гилярова-Платонова, «Московская газета», «Голос Москвы», «Русский листок» В. И. Миллера, «Иллюстрированная газета» Н. Н. Саедова, «Московский листок» Пастухова; журналы «Россия», «Русский сатирический листок», «Народное благо», «Радуга» и многие, многие другие периодические издания, возникавшие одно за другим в конце прошлого века и быстро прогоравшие за отсутствием подписчиков. Издавали их большей частью не профессиональные литераторы, не лица, имевшие какое-либо отношение к журналистике, а предприимчивые люди, своего рода коммерсанты, рассматривавшие затеянное ими дело с точки зрения выгодного коммерческого барыша.

Иногда, впрочем, и на такой специфической основе возникали интересные периодические издания. В этом отношении особенно типичны две московские газеты: «Новости дня» А. Я. Липскерова, первый номер которой вышел в 1883 году, и «Русское слово», перешедшее в 1897 году к И. Д. Сытину. Обе эти газеты впервые, если не считать вышеупомянутого «Курьера» и «профессорских» «Русских ведомостей», попытались дать своим читателям не традиционно ходульный материал, а нечто более содержательное. Необходимо отметить исключительный издательский талант «зачинателей» этих газет.

А. Я. Липскеров стал издателем, имея, по его собственным словам, всего два рубля в кармане.

И. Д. Сытин и вовсе начал свою триумфальную карьеру с ничтожной должности «мальчика» в букинистической лавчонке на Никольской улице.

Оба эти издателя были прямо противоположны друг другу по своему бытовому укладу: Липскеров, разбогатев от «Новостей дня», стал жить на широкую ногу: приобрел шикарный особняк у Красных ворот, завел элегантный выезд на английский манер, отдал своих сыновей учиться в фешенебельный «Катковский» лицей и даже привез откуда-то специальных грумов в качестве домашней прислуги. Зимой на торжественных раутах в его особняке гостей угощали свежими овощами и душистой клубникой. Возвращаясь с таких раутов, отец часто приносил домой фруктовые «сувениры», раздававшиеся гостеприимным хозяином сотрудникам своей газеты. Завсегдатаями липскеровских вечеров, помимо лиц, имевших какое-либо отношение к «Новостям дня», были знаменитости того времени: Ф. И. Шаляпин, М. Н. Ермолова, «несравненная» А. Ф. Вальцева, замечательная

исполнительница русских песен Плевицкая, цыганка Варя Панина и другие.

Там же делали карьеру и новички театрального искусства, выгодно используя для себя знакомство с корифеями русской сцены и влиятельными театральными критиками «Новостей дня» Н. Эфросом, Семеном Кругликовым и другими.

Что касается И. Д. Сытина, издателя другой популярной московской газеты — «Русское слово», его жизнь не блистала внешним великолепием: он постоянно ходил в скромном потертом пиджаке, никаких знаменитых гостей у себя не собирал и даже свою семью держал, как говорится, «в черном теле». Его сын, долговязый гимназист Володя, часто жаловался мне, что отец не дает ему денег на личные расходы, и даже ездить в гимназию бедному Володе приходилось на открытом империале так называемой «двухъярусной» конки, за три копейки (билет в нижнем, закрытом вагоне конки стоил пять копеек). Подобный пуританский образ жизни настолько укрепился в сознании молодого Сытина, что, став студентом, он по-прежнему ездил на империале, носил простую русскую косоворотку и синие студенческие брюки заправлял в дешевые сапоги. Его друзья рассказывали, будто он даже жил на заработанные уроками деньги, отказываясь от всякой материальной помощи богатого отца.

И. Д. Сытин в конце девяностых годов часто бывал у моего отца, образно называя его «сударем-газетчиком», а мать — попросту «барынькой». Незамысловатые исторические романы и повести отца были тогда популярны во всех уголках России. Сытин исключительным чутьем опытного издателя почувствовал, какую пользу для своей газеты может извлечь он из этой популярности за скромные авторские гроши. Началось его настойчивое ухаживание за отцом. Здесь было пущено в ход все: и лесть, и посулы, и чуть ли не слезные просьбы «поддержать» новую, никому еще неизвестную газету. В конце концов он добился своего: отец, переговорив с Липскеровым, стал печататься не только в «Новостях дня», но и в «Русском слове» под псевдонимом «Д. Москвин». Альянс Сытина и отца продолжался, однако, недолго, пять или шесть лет.

В начале девятисотых годов на авансцене московской периодической печати появилась новая популярная фигура — В. М. Дорошевич. Своей острой тематикой, своими новаторскими приемами письма он отодвинул на задний план не только романистов, но и самых модных журналистов того времени. «Русское слово» с его статьями расходовало более значительный тиражом, чем с историческими фельетонами моего отца. В конце концов Дорошевич стал полноправным диктатором сытинской газеты, хотя официальным редактором ее все время считался доктор Благов, зять И. Д. Сытина.

У меня лично в это время сложились особые отношения с В. М. Дорошевичем. Отец как-то рассказал ему, что я состою «редактором»

школьного журнала «Дударь». Почему я дал ему такое название, не помню, но, очевидно, у меня были для этого «веские соображения».

Дорошевич со свойственным ему юмором стал после этого здороваться со мной по-особому, крепко пожимая мою руку и называя меня «уважаемым коллегой». Между прочим, он рассказал мне, что сам издавал когда-то под партой журнал «Муха», за острую «публицистику» которого был исключен из гимназии. Впрочем, его последовательно исключали из всех московских гимназий, кроме первой, в которую он не мог попасть по своему «низкому сословному происхождению».

Так или иначе, я и сам стал выделять Дорошевича из общей массы отцовских гостей, серьезно считая его собратом по перу.

В начале девятистых годов оба московских издателя — А. Я. Липскеров и И. Д. Сытин настолько окрепли в газетном деле, что решили расширить свою издательскую деятельность. Липскеров приступил к изданию несколько скучноватой, сухой «Семьи», еженедельного журнала, предназначенного для либерально-буржуазной столичной публики, а Сытин, помимо еженедельного иллюстрированного приложения к «Русскому слову», стал выпускать еженедельную «Искру», более живой журнал, нежели липскеровская «Семья», под редакцией своего главного управляющего В. И. Жигарева. Личность Жигарева настолько своеобразна, что о ней стоит сказать несколько слов.

Он был потомком старинного старообрядческого рода Жигаревых, описанных Мельниковым-Печерским в увлекательных романах «В лесах» и «На горах». К литературе Жигарев не имел никакого отношения, но его исключительная деловая одаренность помогла развитию всего сытинского дела. Не довольствуясь устаревшими типографскими машинами технически отсталой тогдашней России, Жигарев потребовал у Сытина, чтоб он отправил его в Англию для ознакомления с постановкой печатного дела за границей. Сытин сам думал об этом, и предложение главного управляющего пришлось ему по душе. В итоге Жигарев отправился в Англию. Не зная английского языка, не будучи вообще никогда за границей, он все же сумел разобраться в новейших достижениях английской техники и привез оттуда в Москву новые ротационные машины, поднявшие продуктивность сытинского издательства.

Во все концы необъятной Руси издательство рассылало теперь, помимо традиционных оракулов и сонников, миллионными тиражами копеечные издания великих русских классиков: Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других. «Капитанскую дочку» Пушкина можно было купить, например, за 5 копеек, «Тараса Бульбу» — за 3 копейки, «Боярина Оршу» — тоже за 3 копейки и т. д. Отец подарил мне в детстве маленькую библиотечку сытинского издания в изящной кожаной папке. В ней было около ста книжек, главным образом русских классиков. Стоила такая библиотечка всего 3 рубля. Я до сих

пор не могу понять, как сумел полуграмотный человек, выходец из бесправной народной массы, поставить на такую исключительную высоту свое издательское дело.

Его газета «Русское слово» по количеству подписчиков оказалась достойным соперником суворинского «Нового времени», она выходила огромным по тому времени тиражом и удовлетворяла вкусам самой разнообразной публики — от мелкого городского мещанина до крупного ученого.

И. Д. Сытин мечтал создать в Москве журнал, равноценный по своей популярности петербургской «Ниве» изд. А. Ф. Маркса или хотя бы «Родине» Каспари, также издававшемуся в Петербурге. Это ему, однако, не удалось. «Нива», бесцветная по основному содержанию, высоко расценивалась читателями за свои интересные приложения. Многие любители чтения буквально воспитывались на русских и иностранных классиках, бесплатно прилагавшихся к «Ниве». Что касается незамысловатой, мелкообывательской «Родины», этот журнал имел настолько специфический круг читателей, что переманить их к себе Сытину не удалось. В итоге он по совету Жигарева решил издавать журнал нового типа, по американскому образцу, т. е. состоящий из самой разнообразной смеси: здесь были и рассказы, и стихи, и злободневные очерки, и кулинарные советы, и руководство по садоводству и огородничеству, и медицинские справки, и веселый «почтовый ящик» и пр. и пр. Пестрое содержание журнала, редактировавшегося, кстати сказать, тем же Жигаревым, пришлось по вкусу многим невзыскательным читателям, к числу которых принадлежал и я сам.

Мне было тогда 12 лет, и я, сгорая от зависти к старшему брату, печатавшему свои рассказы в липскеровской «Семье», решил также выступить на славном литературном поприще. Сделать это собственными силами оказалось мне не по плечу, и я прибег к самому бесцеремонному плагиату: найдя в старых номерах бартеневского «Русского архива» несколько неизданных стихотворений Жемчужникова, Яхонтова и А. К. Толстого, я отправил их под своим именем в редакцию журнала, надеясь, что они никому не известны, кроме узкого круга читателей бартеневского «Русского архива». Ждать ответа долго не пришлось: через 2 или 3 недели в так называемом «почтовом ящике» журнала было сообщено, что присланные мной стихотворения «годны только для редакционной корзинки». Итак, Жемчужников, Яхонтов и А. К. Толстой оказались «пригодными только для редакционной корзинки». Не размышляя по существу этого ответа, я решил направить в «Искру» стихи какого-либо другого поэта рангом повыше. Мой выбор остановился на одном, как мне казалось, мало популярном стихотворении Лермонтова, но и Лермонтов не понравился редакции, в «почтовом ящике» мне посоветовали «попробовать свои силы в прозе и не писать больше скверных стихов».

Современному советскому читателю, конечно, покажется дикой вся эта история,— каждая полученная редакцией литературная работа внимательно рассматривается в наши дни опытными сотрудниками. В годы же моей далекой молодости «почтовые ящики» были специальным разделом почти всех еженедельных журналов. Предназначались они главным образом не для делового ответа авторам, а для дешевого увеселения невзыскательных читателей: руководители «почтовых ящиков», не прочтя даже того или иного стихотворения, изодрялись в глумлении над их злополучными авторами. В этой сфере особенно широко подвизались многочисленные юмористические журналы обеих столиц. В петербургской «Мозаике» была дана на этот счет характерная карикатура из четырех рисунков: на первом из них — робкий, дрожащий поэт вручает углубленному в занятия редактору рукопись своих стихов, во втором он видит, как редактор, не взглянув на его заветную рукопись, бросает ее в горящую печь. На третьем рисунке поэт подсматривает в дверную щель, что будет делать редактор с принесенными ему новыми стихами. В финале редактор летит вверх ногами вместе со своим креслом, так как последняя рукопись незадачливого поэта оказалась начиненной порохом. Под всем этим торжествующе-злорадная надпись: «Поэты, вы отомщены!»

Много лет спустя, будучи ответственным работником Красной Армии, я встретил в 1922 году В. И. Жигарева в так называемом «Книгоиздательском кооперативе 1917 года». Под этой маркой И. Д. Сытин пытался возродить на законных по тому времени основаниях свое национализированное в Октябрьскую революцию предприятие. Я откровенно рассказал Жигареву о своей попытке стать когда-то журналистом и о том, как реагировала на эту мальчишескую проделку редакция журнала. Жигарев нисколько не смутился.

— Что ж,— ответил он, задумчиво положив ручку на стол,— таковы были приманки для читателей. Публика наших дней любила уголовные романы и веселые «почтовые ящики». У нас на этих ящиках особые специалисты сидели.

— Чтоб высмеивать злополучных авторов? — спросил я.

— Чтоб развлекать читателей,— не без строгости поправил меня В. И.

— А если вам присылали что-нибудь стоящее, интересное?

— На подобные рукописи мы отправляли письменные ответы по почте, причем это случалось редко, нас бомбардировали главным образом поэты вроде тебя,— и, хитро подмигнув мне, сказал: — А для борьбы с вами всякие средства хороши!

— Но ведь я отправил стихотворения А. К. Толстого, Лермонтова!

— А как ты думаешь, мы читали все вирши, которые нам присылали? Да ведь они поступали к нам сотнями, тысячами, а на «почтовом ящике» сидел один недоучившийся студент, да и тот

пьяница. Тут, батенька, была своего рода лотерея: вытащит этот студент что-нибудь этакое из общей корреспонденции, посмотрит на адрес и ответит.

— Не читая рукописи?

— Иногда даже не читая. Вреда от этого для отечественной литературы особого не было — на тысячу галиматийных стихов одну жемчужину присылали, ищи-свищи эту жемчужину в общем хламе.

Таковы были нравы многих еженедельных журналов в годы, предшествовавшие первой русской революции. Здесь так же, как и в газетном деле того времени, мало думали об идейном направлении журналов, да и нельзя было думать. Свирепая царская цензура зорко следила за каждым печатным словом, всюду выискивая почву для своего «красного карандаша». На этом роковом карандаше многие цензоры сделали блестящую карьеру.

В дни так называемых «свобод», после Октябрьского манифеста 1905 года, русская пресса, как сказал я выше, осмелела, появился ряд новых газет и журналов, рассчитанных на острый текущий момент («Свисток», «Пулемет» и др.).

Существовали эти легальные органы недолго. Наступившая после мнимых свобод реакция свирепо расправлялась с ними, руководствуясь драконовскими законами военного или чрезвычайного положения. За каждую «дерзновенную мысль» периодические издания подвергались крупному штрафу, иногда даже закрывались, злополучных же редакторов в административном порядке сажали в тюрьму на несколько месяцев, а за так называемое «оскорбление величества» — на один год в крепость. В результате для русской периодики возникла опасность остаться без руководящего редакторского персонала, так как никто не хотел попасть в суровую царскую тюрьму.

На этой почве в Москве появился тип так называемого «отсидочно-го редактора». За определенную сумму он обрекал себя в качестве редактора той или иной газеты на тюремное заключение, несколько не участвуя фактически в выпуске подписанного им печатного органа. Нечего, конечно, и говорить, что на такие сомнительные сделки шли люди невысокого морального уровня.

Общий издательский ажиотаж, несмотря на все его тернии, захватил и моего отца. Он давно мечтал об издании своего собственно небольшого журнала, рассчитанного на вкусы простого русского люда. Для этого требовалось разрешение Министерства внутренних дел. Н. Н. Саедов и некий гвардейский полковник А. П. Вишнеvский (бывший адъютант генерал-губернатора Москвы князя Долгорукова) снабдили отца рекомендательными письмами к директору департамента, ведавшего русской периодической печатью.

По пышному церемониалу того времени к высоким департаментским персонам просители допускались только в парадных черных сюртуках с шелковыми лацканами... Пришло и отцу, приехавшему

в Петербург в обычном пиджаке, облечен в церемониальный туалет, однако и он не привел к благожелательному завершению дела.

Директор департамента принял отца более или менее любезно, но, прочтя его почтительное ходатайство, сухо спросил:

— Вы хотите назвать ваш журнал «Народной нивой»?

— Да.

— Но ведь у нас есть петербургская «Нива», затем душеспасительный журнал преосвященного Никона «Божья нива», издаваемая в Троицкой лавре, зачем же еще издавать какую-то «Народную ниву»? И скажите, пожалуйста, господин Дмитриев, что именно будет печатать ваша «Народная нива»? Революционные сентенции для деревенских мужиков, чернышевщину?

— Ваше превосходительство,— осмелился возразить отец,— до сих пор я печатал одни только исторические романы в московских «Новостях дня».

— «Новости дня»,— сквозь зубы процедил директор,— еврейская газета. За вашими историческими романами как за спасительной ширмой прячутся Липскеров, Эфрос, Ашкинази, Кугель, Агрофеоти и прочая публика в том же духе. Словом, я не могу разрешить издания вашего журнала.

Характерно, что в эти годы Петербург крайне терпимо относился ко всякого рода эротической литературе и даже неофициально поощрял ее, намереваясь отвлечь этим внимание молодежи от «вредных политических вопросов».

Этим благоволением петербургских юпитеров широко воспользовались разные литературные проходимцы. Они стали выпускать специфические газетки, рассчитанные на эротические вкусы мелкобывательской публики, испугавшейся «беспокойных идеалов» революции. Печатались эти газетки на игривой цветной бумаге и носили не менее игривые названия: «Поцелуй», «Я люблю», «Лови момент» и пр. и пр. Их фривольность заходила иногда так далеко, что администрация вынуждена была применять к ним знаменитую «Тысяча первую статью», предусматривавшую борьбу со всякого рода печатной порнографией. Эта грозная мера мало, однако, повлияла на ретивость предприимчивых остапов бендеров. Чтоб избежать неприятных конфликтов с высшей московской администрацией, они перешли на нелегальное положение и продолжали наводнять Москву своей на этот раз уже откровенно порнографического характера литературой. Продавалась эта литература, конечно, из-под полы, главным образом у Иверских ворот, в начале Красной площади, а также в московских пивных и третьеразрядных ресторанах. Полиция, руководствуясь неофициальными директивами сановного Петербурга, смотрела сквозь пальцы на подобного рода «просветительную деятельность».

Однажды мне пришлось быть свидетелем такой характерной сцены: в одной из лучших московских пивных на Тверской улице

(улица Горького) от столика к столику шныряли какие-то подозрительные красноносые лица. Они громко предлагали публике самые безбидные книжонки, иногда даже ультрапатриотического содержания, и тут же, наклонившись к уху посетителя, предлагали литературу другого рода, спрятанную у них на дне объемистых кожаных сумок. Неожиданно в пивную вошел большой наряд полиции во главе с приставом Первой Тверской части генерал-майором Прутковским. Городовые и сыщики стали у дверей пивной и никого из нее не выпускали. К Прутковскому подобострастно подбежал главный администратор пивной, но пристав не дал открыть ему рта и громко, начальнически заявил:

— По имеющимся у нас сведениям, здесь раздается сейчас нелегальная литература. Мы должны обыскать всех посетителей!

— Ваше превосходительство изволит говорить правду,— хихикая залепетал администратор,— у нас действительно кое-кто продает сейчас книжечки, но смею заверить ваше превосходительство...— И он стал шептать что-то на ухо Прутковскому.

— Покажите-ка мне этих книгонош,— сквозь зубы процедил пристав.

Внимательно осмотрев сумки красноносых проходимцев, грозный пристав решительно сказал им: «Убирайтесь вон из пивной и больше не попадайтесь мне на глаза, иначе я вышлю вас из Москвы! — Затем, обратившись к администратору, более благодушно добавил: — Эта печатная мерзость все же менее опасна красных книжонка Бебеля, Каутского, Плеханова и прочих господ революционеров.

В заключение данной главы несколько слов о судьбе основных московских газет, так или иначе переживших мрачную победу реакции. В 1907 году Вторая Государственная Дума была разогнана и вместе с этим кончились смелые дерзания либерально-буржуазной прессы, передававшей наряду с отчетами думских заседаний свои собственные мысли по существу этих заседаний.

Московские газеты, хитроумно приспособившиеся до сих пор к текущим политическим событиям, с наступлением реакции вернулись к своему грустному дореволюционному первообразу, иначе говоря, к широковетательной доходной рекламе и обывательски лояльной тематике. Что касается газет и журналов, возникших в революционные годы, они не смогли существовать при наступившей реакции, так как их основным тематическим кислородом была сама революция. Так кончили свою короткую жизнь острополитические журналы «Пулемет» и «Свисток» и многие другие периодические издания. В своем последнем номере «Пулемет» следующим мрачным образом рисует конец в России так называемых «незыблемых свобод», обещанных царским манифестом 17 октября 1905 года:

И куда я ни пойду ли,
Все патрули да патрули,
Казематы да солдаты,
Да фельдфебельские «маты»...
Обманул нас Х проклятый!

За этот-то «Х» журнал, конечно, закрыли, а редактора посадили в крепость, где он скоро умер «по невыясненным причинам», как цинично заявила жене покойного тюремная администрация. К сожалению, я не помню фамилии этого смелого человека времен первой русской революции.

В годы наступившей реакции в Москве возник ряд новых газет и журналов, являвшихся большей частью лояльными трубадурами октябрьских идей 3-й и 4-й Государственных Дум. Таковы были: «Столичная молва», «Раннее утро», «Утро России» банкира Рябушинского, издававшаяся по типу «Петербургских биржевых ведомостей» Пропера, «Вечерняя газета» и, наконец, антимировская газета «Копейка», быстро подкупившая мелкообывательскую публику своей необыкновенной дешевизной и беспринципно пестрой тематикой.

Из новых журналов того времени наиболее прочное место заняли в обеих столицах еженедельный журнал «Солнце России», а также ежемесячные журналы «Весы», «Золотое руно», «Аполлон», «Перевал».

Тогда же появились и многочисленные альманахи самых разнообразных направлений — от эстетически-утонченного «Шиповника» с его «Навьими чарами» до натуралистической «Земли» с шумевшей купринской «Ямой». Резким контрастом на пестром фоне этих модных альманахов и журналов являлись петербургские сборники «Знание», начавшие выходить с 1900 года под фактической редакцией Максима Горького. В сорока номерах этих сборников до 1913 года напечатаны лучшие произведения Горького, Андреева, Куприна, Серафимовича, Телешева и других писателей, ставших особенно популярными благодаря их участию в «Знании». Я до сих пор помню, как высоко расценивались московской публикой эти скромные по внешнему виду зеленоватые сборники. Они расходились в книжных магазинах тотчас же по выходе в свет, в библиотеках на них устанавливались длинные очереди читателей.

Хочется сказать несколько слов о конечной судьбе двух популярнейших московских газет — «Русского слова» и «Новостей дня». Сытинское «Русское слово», дипломатично руководимое в эти далекие годы В. М. Дорошевичем, не только благополучно миновало (отчасти благодаря их патристическим настроениям в Русско-японскую войну) все цензурные рифы мрачной реакции, но даже ухитрилось довести

свой тираж до 650 тысяч экземпляров. Этому необычайному росту газеты способствовала, как сказал я выше, тематическая многогранность ее материала: в ней печатались оригинальные фельетоны самого Дорошевича, интересные очерки Варшавского, легкая юмористика Тэффи, глубокомысленные сентенции по вопросам экономики кадетствующего профессора Московского университета Озерова и, наконец, необычайные для светской газеты статьи священника Григория Петрова, рьяного пропагандиста идей христианского социализма. Успех Петрова был настолько значителен, что у него скоро нашлись подражатели, печатавшие в других столичных газетах ханжествующие статьи о том же христианском социализме. Среди них особенно выделялся некий архимандрит Михаил. Его неукротимость была настолько велика, что духовные власти вынуждены были в конце концов расстричь его, но предприимчивый архимандрит перешел в старообрядчество и, будучи старообрядческим архиереем, продолжал печатать в светских газетах теологические проповеди.

Естественным резонансом этого либеральничавшего теологического движения в обеих столицах явились рясофорные публицисты иного рода. Они печатали в «Московских ведомостях», в петербургском «Вече» и «Колоколе», а также прочих реакционных газетах и газетках кликушеские статьи о непогрешимости самодержавного «помазанника божия», о зле революции, о высшем благе гражданского смирения, о божьем произволении и т. п. Эти неукротимые мракобесы, пуришкевичи в рясах, как их тогда называли, также имели своих знаменитостей: иеромонаха Илиодора Труфанова, отличавшегося своей фанатичностью, архиереев Гермогена саратовского и Антония Волынского, наконец, редактора Троице-Сергиевской «Божьей нивы» архимандрита Никона, ставшего впоследствии благодаря своей погромно-черносотенной публицистике архиепископом Вологодским и Тотемским. Все эти мрачные трубадуры самодержавной монархии вступили в ожесточенную полемику со своеобразным либерализмом Григория Петрова и его последователей. Сановный Петербург смотрел сквозь пальцы на эти диспуты, резонно полагая, что они только дурманят голову малосознательной, неуравновешенной публики, отвлекая ее от острых политических вопросов того времени.

В итоге подобой политики «Русское слово», не подвергшись за все время своего существования ни одному серьезному административному взысканию, стало тем не менее популярнейшим трибуном мелкобуржуазной городской публики. Сытину не пришлось раскаиваться в выборе диктатора своей газеты, ее тираж увеличивался с каждым годом, и по своему влиянию, как я сказал выше, она стала в конце концов конкурировать с консервативным «Новым временем». В. М. Дорошевич в годы реакции после Первой русской революции

оказался и прекрасным дипломатом: он сумел сохранить газету до Октябрьской революции.

Иная судьба постигла другую популярную московскую газету — «Новости дня» А. Я. Липскерова, испытавшую на себе острые когти реакции и окончательно погибшую в конце девятисотых годов. Агония этой газеты продолжалась довольно долго. Несколько раз по цензурным условиям она меняла свое название, последовательно превращаясь из «Новостей дня» в «Новости дня и вечера», затем в «Трибуну» и пр. Нечего, конечно, и говорить, как отразились подобные метаморфозы на материальном благополучии газеты: она потеряла не только клиентуру, печатавшую в ней свои ежедневные рекламы, но и почти всех своих подписчиков.

Дело дошло до того, что в конторе редакции часто не находилось денег для оплаты самого незначительного авторского гонорара.

На этой почве лично со мной произошел следующий грустный случай: отец послал меня как-то в контору «Новостей дня» для получения гонорара. Главный бухгалтер конторы, приняв весьма серьезный и важный вид, заявил, что у них нет сейчас мелких денег, и сказал, чтоб я пришел со своей претензией на другой день. Я пришел на другой день, и опять в конторе «не оказалось мелких денег». Отец послал меня третий раз, сказав, чтоб я ни в коем случае не уходил из конторы без денег. Я исполнил это поручение с исключительной добросовестностью: когда бухгалтер третий раз сообщил мне, что у них «нет мелких денег», я сел поудобней на кожаный диван и заявил, что буду сидеть до тех пор, пока контора не разменяет крупные ассигнации на более мелкие, в которых очень нуждается сейчас мой отец. Сидеть мне пришлось долго, часа три или четыре; бухгалтер рассчитывал, очевидно, взять меня измором, но, удивившись в моей непреклонности, протянул мне небольшой конвертик с какой-то монетой и сердито сказал: «Бери и убирайся!»

В конверте оказалось всего пять рублей, но они пришлись вовремя нашей семье, так как вместе с прогоревшими «Новостями дня» прогорали и мы. Характерно, что за несколько лет до этого случая, в начале девятисотых годов, банкир Рябушинский, намереваясь издавать в Москве газету, предложил Липскерову 200 тысяч рублей за его «Новости дня», но Липскеров решительно отказался от подобной сделки, заявив банкиру, что «газета не биржевая акция, которую можно выгодно продать или выгодно купить». «Новости дня» «задушил» бесконечными штрафами московский градоначальник, генерал Рейнбот. В Москве упорно говорили, что всемогущий генерал преследовал липскеровскую газету не за ее политическое направление, а за то, что один из сыновей издателя газеты, блестящий молодой либерал, отбил у его превосходительства какую-то опереточную «этуаль».

Титанически незыблема, неуязвима была в те далекие годы одна только газета, знаменитые катковские «Московские ведомости». Она имела своих хорошо выдрессированных сотрудников и своих читателей главным образом из крупной буржуазии, высших чиновников и пр. Ее моральные установки были почти крепостническими, близкими «патриотическому сердцу «охотнорядских молодцов» и членов пресловутого «Общества хоругвеносцев».

Впоследствии «Московские ведомости» являлись основным руководящим органом всякого рода черносотенных организаций: «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела» и т. д.

Иную картину представляли толстые журналы конца прошлого века: «Русская мысль», «Русское богатство», «Мир божий», «Вестник Европы» и др. Здесь авторский коллектив строго отбирался опытными редакторами типа Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, Гольцева, Стасюлевича и многих других. В восьмидесятых годах и безыдейные юмористические журнальчики, вечные трубадуры «тещиных языков» и «дачных мужей», попытались выйти на иную дорогу.

С этой целью при содействии М. Н. Островского началось печатание уже не чисто юмористического, а сатирического журнала под названием «Русский сатирический листок». Помещался он в ныне сломанном церковном доме на Тверском бульваре. Отцу предложили должность ответственного секретаря этого журнала с маленькой квартиркой при редакции. В этой квартирке я и родился 6/19 декабря 1888 года. Мое появление на свет, рассказывала моя мать, было несколько неожиданным для моих родителей, и акушерка за неимением более комфортабельной колыбели положила меня в опустошенную редакционную корзину. В общем, «Сатирический листок» не оправдал лелеемых на его счет чаяний: публике, воспитанной на незыблемой юмористике александровского времени, не понравилось новаторство нового журнала, и его робкая сатира быстро прекратила свое существование.

Следует, однако, отметить, что в этом журнале поместил свой первый рассказ А. И. Куприн в 1889 году.

Отец в это время приобрел уже некоторую популярность в качестве драматурга и исторического романиста. Будучи страстным книголюбом, он собрал несколько тысяч книг и решил поделиться своим «богатством» с широкими народными массами. С этой целью он снял в девяностых годах в одном из захолустных уголков Москвы, на Большой Грузинской улице, специальное помещение, пригодное для публичной библиотеки, с квартирой для себя. Московской администрации показались подозрительными просветительные затеи моего отца, она не могла понять, кого собирался просвещать писатель Дмитриев, расположившись среди горьковских пустырей и огромной свалки

уличных булыжников на Георгиевской площади. Такова была в 90-х годах Большая Грузинская улица, с ее прекрасным теперь сквером и комфортабельными домами. Как-то к отцу зашел его друг В. А. Гиляровский и сказал, что библиотека отца скоро будет взята под обстрел тайной и явной полиции.

В. А., некоронованный король московских репортеров, по характеру своей профессии знал почти всех московских полицейских приставов и сыщиков, вращаясь в сфере крикливых городских происшествий и уголовных преступлений. Действительно, через несколько дней в библиотеку пришли старший инспектор по делам московской печати Бернов, местный пристав и какой-то подозрительный штатский. Мне было тогда около 10 лет, и, открывая дверь этой почтенной публике, я был потрясен их, как мне тогда показалось, государственной важностью.

— Ты служишь в библиотеке, мальчик? — спросил Бернов.

— Нет, — трепеща от страха, пролепетал я.

— А что же ты здесь делаешь?

— Читаю «Всадника без головы» Майн-Рида.

— Всадники должны быть с головами, — пробасил пристав, — а что, малец, этих самых безголовых всадников не читают здесь этикие длинноволосые люди или бабочки в синих очках?

В этот момент вошел отец, и наш разговор, насколько я помню, принял иное направление.

— Нам интересно знать, господин Дмитриев, — сказал Бернов, отрекомендовавшись отцу, — кто является вашими подписчиками.

— Люди.

— Это мы знаем, но какие люди? Ведь в этом районе, насколько нам известно, кроме мелких ремесленников, дешевых проституток и цыганок из загородных ресторанов, никто не живет! Сколько берете вы за чтение книг?

— Сколько стоит бутылка водки — сорок копеек в месяц.

— Маловато! — покачал головой Бернов.

— Я рассчитывал, — сказал отец, — что некоторые из людей этого захолустного угелка не пожалеют бутылки водки за чтение Пушкина, Гоголя, Некрасова и прочих классиков в течение целого месяца.

Бернов потребовал каталог имеющихся в библиотеке книг и стал величественно просматривать его, время от времени вычеркивая красным карандашом «подозрительных» для него авторов, а пристав со «штатским» подошли к книжным полкам и начали копаться в книгах, обращая особенное внимание на маленькие брошюры. К счастью, ничего «подозрительного» в этих брошюрах не оказалось, и пристав, громко зевнув и перекрестив рот, сказал отцу: «Акт о вашей библиотеке я дам положительный, однако предлагаю вам, господин Дмитриев, повысить плату за абонемент до одного рубля. Книжки должны читать благородные, денежные люди, а не всякая шваль!»

Следует отметить, что ревизия библиотеки происходила вскоре после смерти царя Александра III, наступившей, по настойчивым слухам в Москве, от неумеренного потребления спиртных напитков.

В мае 1896 года предполагалась коронация нового царя — Николая II и полицейские ищейки тщательно фильтровали московскую публику, опасаясь каких-либо террористических актов.

Хочется сказать несколько слов и о самой коронации, поразившей мое детское воображение сначала необыкновенным блеском коронационного торжества, а потом ужасом страшной «Ходынки».

Придворные церемониймейстеры оказались хорошими постановщиками. Они привезли из Петербурга в Москву все гвардейские полки в их блестящем парадном обмундировании, сотни золоченых придворных карет с белыми лошадьми в дорогах пополах, с султанами на головах, тысячи придворных кучеров, лакеев и обер-лакеев в красных ливреях с черными орлами на лацканах, в безукоризненных белых чулках и лакированных туфлях.

Всю эту монархическую символику с Николаевского вокзала (Ленинградского) по особой ветке доставили на Александровский, ныне Белорусский, вокзал исключительно для того, чтоб она торжественно проследовала через Триумфальные ворота по всей Тверской улице к пышно убранному Кремлю.

Я и два моих старших брата упростили мать повести нас на этот необычайный парад. Мать поставила меня на высокий подоконник какого-то магазина, и я восхищенными глазами в течение нескольких часов наблюдал, как ехали бесконечные золотые экипажи, похожие на блестящую сказочную карету бедной Золушки, как торжественно следовали кавалергарды в серебряных латах с красивыми серебряными киверами на головах, украшенными серебряными голубками; как гарцевали императорские лейб-гусары в пышных мундирах с ментиками, потом лейб-казаки, уланы в белых раззолоченных мундирах, и снова кареты, кареты, кареты.

Ошеломленная роскошью, московская публика стояла густой стеной по обеим сторонам Тверской, сдерживаемая сомкнутой стеной солдат. Петербургская знать ждала в этот день большого патриотического подъема, но москвичи отнеслись к их пышной инсценировке главным образом как к интересному зрелищу. Я слышал, как мать рассказывала потом знакомым о хмурых лицах многих москвичей, присутствовавших на параде: московская беднота не могла, конечно, восхищаться бутафорской роскошью монархических идей.

А на другой день по Москве поползли слухи, что на Ходынском поле будут раздаваться коронационные подарки, причем в некоторые узелки и кружки «вложат сторублевые выигрышные билеты». Страсти

бедноты закипели, всем захотелось получить от нового царя сторублевый подарок. Собирались на Ходынку группами по пять, по десять человек, чтоб легче было пробраться к заветным раздаточным киоскам. Многие проектировали взять с собой детей, рассчитывая, что на Ходынке будет организована для них специальная очередь. Никто не предполагал, что над Москвой раскинулись в эти дни черные крылья смерти.

Отец был командирован на Ходынку редакцией «Новостей дня». На рукав своего пальто он надел белую ленту, на которой большими красными буквами было написано: «Корреспондент». В роковой день, 18 мая 1896 года, к нему пришли В. А. Гиляровский и петербургский драматург Шпажинский с такими же повязками на рукавах. Они были командированы на коронационные торжества московскими «Русскими ведомостями» и петербургским суворинским «Новым временем». Настроение корреспондентов было приподнятое. Гиляровский, по своему обыкновению, предложил «осушить посощок на дорожку», но его сотоварищи отказались от такого веселого начала: отец вообще ничего не пил, а Шпажинский был слишком чванлив для фамильярных выпивок. После некоторых профессионально-ориентировочных разговоров они сели в шикарный редакционный экипаж и уехали.

По всем московским улицам в этот момент двигались на Ходынку густые толпы народа. Все были веселы и по-праздничному нарядны. Шли старики и старухи, шли инвалиды на костылях, матери с маленькими детьми — всех притягивала магическая сила сторублевого выигрышного билета. Ждала этого рокового билета и наша большая семья, вечно нуждавшаяся и необеспеченная.

И вдруг случилось нечто страшное и неожиданное: с Ходынки стали возвращаться домой бледные, перепуганные люди... Боязливо оглядываясь, они рассказывали о гибели множества народа на Ходынском поле, о трупах, которые они видели, искаженных лицах казаков, разгонявших нагайками многотысячную толпу.

К моей матери пришел наш сосед, инженер Разин, он старался сохранять самообладание, быть спокойным, но это ему плохо удавалось. Даже я заметил, что лицо этого человека было искаженным.

— Ваш супруг вернулся? — отрывисто спросил он у матери.

— Нет еще.

— Гм... Там погибло много людей. Я сам был на волосок от смерти, да меня вытащили из толпы мои ученики, воспитанники железнодорожного училища. Народ, знаете ли, здоровый, смелый... Если бы не они... Ну, да что вас пугать раньше времени, не падайте духом, может, все обойдется для вас благополучно.— Он ласково погладил меня по голове слегка дрожащей рукой и быстро ушел. Мать села на диван,

закрыла лицо обеими руками и заплакала, заплакал, глядя на нее, и я. И только мой старший брат держался мужественно: он надел гимназическую фуражку и решительно сказал: «Пойду искать отца!» Но мать обхватила его обеими руками и, прижав к себе, долго стояла молча, не спуская глаз с большой старинной иконы богородицы в углу комнаты. Я был слишком мал тогда, чтоб понять ее мрачные думы, мне казалось, она плачет о том, что нам не достался сторублевый выигрышный билет.

Отец вернулся только вечером, бледный и возбужденный. Повязки на его рукаве, которой я восторженно любовался, уже не было. Немного успокоившись, он рассказал нам то, о чем рассказывал потом всю свою жизнь:

«По мере того как наш экипаж приближался к Ходынке, мы все ясней и ясней слышали какой-то странный гул голосов, какофонию отчаянного крика, брани и слез. На подступах к Ходынке скопилось много народа, сдерживаемого сомкнутой цепью солдат. Куда-то проскакал отряд казаков с нагайками, за ними, стоя в своем экипаже и держась за сиденье кучера, промчался московский обер-полицмейстер Власовский, бледный, как полотно, без фуражки, в развевавшейся от быстрого езды шинели.

Гиляровский выпрыгнул из экипажа и скоро узнал все: на Ходынке случилась страшная катастрофа: люди давят друг друга, многотысячная толпа топчет ногами упавших; чтоб спасти детей, родители поднимают их над головами, и дети бегут по этой страшной дороге к выходу...

Стопившийся вокруг нас народ начал крайне недружелюбно поглядывать на наш шикарный экипаж и особенно на наши таинственные повязки на рукавах.

— Начальство пожаловало, — услышали мы возбужденные голоса, — полюбоваться приехали своей работой... У, дьяволы!..

— Почему мер не приняли, черти полосатые?! — размахивая кулаками, наступал на нас какой-то мастеровой в изорванной рубашке, — казачков послали народ стегать, самих бы вас...

— А ну, робя, бери их в переплет!

Высокомерный Шпажинский начал что-то говорить, однако его никто не слушал. Толпа надвигалась на нас, грозная и мстительная. Видавший виды Гиляровский не растерялся. Обладая огромной физической силой, он легко поднял оторопевшего мастерового, потряс его в воздухе и снова поставил на землю.

— Как видишь, землячок, — спокойно, почти ласково сказал Гиляровский, — нас не так-то легко взять в переплет. Ступай себе с богом, мы не начальство, а такие же подначальные, как и вы, словом, репортеры.

Русский народ любит сильных людей, роковое для нас настроение толпы стало быстро разряжаться.

— Ишь, черт какой, будто ведмедь, — отряхиваясь, сказал мастеровой, но уже без прежней злости.

Гиляровский велел кучеру возвращаться домой, а нас благополучно вывел из возбужденной толпы. Мы вошли в парадный подъезд какого-то большого дома и сняли там со своих рукавов не понравившиеся толпе повязки, после чего разными переулками добрались до дому*.

Ходынская трагедия потрясла всю Москву. Древняя столица мрачно затихла и облеклась в глубокий траур, но в императорском дворце было в этот день парадно и весело: молодой, только что коронованный император, вместе со своей «августейшей супругой», торжественно открыли вечером бал в блестящем Георгиевском зале. Гремела музыка, звенели гвардейские шпоры, легко скользили по полу прелестные туфельки придворных дам...

И в это же самое время мобилизованные из всех больниц врачи подсчитывали на Ходынском поле жертвы коронационных торжеств.

Убитых оказалось более двух тысяч человек, несколько десятков тысяч было искалечено. Когда об этом доложили молодому царю, он бала не отменил, но все же «велел расследовать дело», не затрагивая, однако, его дядю, московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. В итоге был обвинен за катастрофу на Ходынке один только московский обер-полицмейстер, полковник Власовский, относительно мелкая сошка в пышной монархической иерархии. Власовский застрелился, а великий князь приказал устроить праздничную иллюминацию по случаю коронационных торжеств. И всю ночь горели на городских тумбах перед каждым воротами в Москве так называемые «плошки» с горючим маслом.

Много видел я в своей жизни трагических и страшных картин, но до сих пор живут в моей памяти коронационные ночи 1896 года, когда московские пожарные части, освещая себе путь зловещими факелами, развозили по городским кладбищам искалеченные, прикрытые брезентом трупы. На одной из таких мрачных повозок смерти я увидел сквозь щели опущенной матерью шторы полубезумного старика. Он сидел на брезенте, прикрывавшем трупы, и кому-то грозил протянутыми в пространство костлявыми руками...

Москва не скоро забыла Ходынку. Традиционный ритм ее жизни был слишком оцутимо нарушен страшной катастрофой. Характерно, что именџо с этого момента началась моя сознательная жизнь. Мне было всего восемь лет, но и до моего детского сознания дошли общие настроения того времени. Все обвиняли нового царя в случившемся бедствии, в том, что он легкомысленно уклонился от всякого руководства коронационными торжествами. Долго я находился после этого в состоянии нервного возбуждения, почти каждую ночь мне грезился старик с угрожающими костлявыми руками...

Но вот Москву захватило другое общественное событие, торжественное и величественное: в мае 1899 года исполнилось сто лет со дня

рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. Обаяние этого имени не ослабло, несмотря на гнетущие настроения после Ходынки.

Несмотря на недovolное брюзжание всемогущего воспитателя царя К. Победоносцева, москвичи вместе со всей Россией превратили этот год в своеобразный национальный карнавал: все театры, газеты, журналы, даже незамысловатые народные балаганы — все переключилось на светлую пушкинскую тематику.

Издательства выпускали в эти дни миллионными тиражами по грошовой цене произведения поэта: «Повести Белкина», «Капитанская дочка», сказки и пр. Я помню, с каким благоговейным восхищением покупал я тогда школьные тетради и дневники, на которых в самых разнообразных вариантах отражались пушкинские дни: здесь были и портреты великого поэта, и отдельные моменты его жизни, и красочные иллюстрации к его произведениям. У меня до сих пор сохранилось юбилейное издание «Евгения Онегина» размером меньше вершка; были и другие издания, еще более миниатюрные, читать их приходилось только через лупу.

Все сознательные русские люди так или иначе откликнулись на этот знаменательный юбилей. Не остался в стороне и мой отец. Он инсценировал для народных представлений сказку Пушкина «Золотой петушок», в неприкосновенности сохранив ее остросатирический характер. Известный режиссер того времени М. В. Лентовский решил поставить эту инсценировку в московском манеже, рассчитывая организовать там широкое народное гулянье памяти великого поэта. Лентовский много лет устраивал в манеже веселые рождественские или масленичные гулянья; простой московский люд, мелкое чиновничество, а также учащаяся молодежь любили его широкий творческий размах и благодушно именовали его за это «магом и волшебником». Заинтересовалась юбилейной затеей Лентовского и литературная Москва. Но когда дело дошло до административного разрешения гуляний, «магу и волшебнику» пришлось почувствовать себя бесправным русским человеком. Вот что рассказывал он моему отцу о своей встрече по этому поводу с московским обер-полицмейстером генералом Треповым, начавшим свою «знаменитую» карьеру после самоубийства полковника Власовского.

— Милостивый государь, — сказал ему Трепов, — манежи существуют для верховой езды, для коней, а не для золотых петушков. Вашему «Петушку» самое подходящее место в зоологическом саду, там и ставьте свою пьесу.

Я слышал этот разговор Лентовского с отцом, и лично мне очень понравилась идея Трепова, я рассчитывал в один день убить двух зайцев. и зверей посмотреть и «Золотого петушка». Но отец реагировал на это обстоятельство иначе.

— Михаил Валентинович, — сказал он упавшим голосом, — но ведь там крошечная сцена, как вы развернетесь на ней со своими грандиозными планами?!

— Как-нибудь развернусь.

— Наконец, может дождь пойти, крытого помещения там очень немного, публика разбежится, попрячется по углам. Вообще я не представляю вашего размаха на открытой сцене Зоологического сада.

— А я представляю,— уверенно сказал Лентовский.

И он действительно сделал для того времени нечто необычайное: на маленькой дощатой сцене под рев голодных зверей яркой политической сатирой заблестала бессмертная сказка Пушкина. Места в театре раскупались нарасхват. Бесправная русская публика после кровавой Ходынки рада была отвести душу на дешевых дощатых скамьях летнего театра. Даже дождь не мешал ей весело смеяться.

Успех инсценировки встревожил не только московские «сферы», но и сановный Петербург. Однажды к отцу пришел околоточный надзиратель и, лихо, по-гвардейски щелкнув каблуками с воображаемыми шпорами, сообщил, что «его превосходительство» московский обер-полицмейстер желает такого-то числа побеседовать с господином автором «Золотого петушка».

— Автор «Золотого петушка»,— ответил отец,— к сожалению, умер шестьдесят два года назад.

— Как умер?! — опешил околоточный,— но ведь я имею честь...

— Вы имеете честь говорить с инсценировщиком сказки великого Пушкина, инсценировщиком, господин околоточный, а не автором. В этом все-таки есть маленькая разница.

Околоточный недоумевающе пожал плечами и ушел, а на другой день отец, вернувшись от Трепова, рассказал нам о своей встрече со всемогущим московским Юпитером.

— Когда я пришел в особняк на Тверском бульваре, где жил московский обер-полицмейстер,— сказал отец,— меня встретили в вестибюле два заслуженных жандарма со множеством всяких медалей на груди.

— Вы к его превосходительству? — спросил один из них.

— Да, я получил приглашение господина обер-полицмейстера,— ответил отец, но быстро поправился,— впрочем, не приглашение, а повестку о моей явке к его превосходительству.

Повестка была тщательно исследована.

— Господин Дмитриев?

— Да.

— Сочинитель?

— Да.

— Идите в приемный зал, там вас ждет господин Лентовский. Петров, проводи их!

Из какого-то темного угла, звеня шпорами, вынырнул третий жандарм, очевидно, менее заслуженный, чем первые два. Он провел

отца в большой зал, наполненный всяким разношерстным людом; здесь находился и М. В. Лентовский в своей традиционной русской поддевке. Лентовский внимательно осмотрел отца с головы до ног.

— Э, батенька,— сказал он,— да вы сами сейчас на какого-то министра похожи, а я вот в поддевке...

— Не знаете, зачем нас вызвал Трепов? — спросил отец. Лентовский пожал плечами.

— Лично меня,— ответил он,— наверное, для того, чтоб запретить мои спектакли в Зоологическом саду, ну, а вас... вас, очевидно, посадят в Бутырки за инсценировку «Золотого петушка». — Лентовский весело рассмеялся, он вообще никогда не падал духом, даже пустая театральная касса не портила его настроения.

Ждать аудиенции пришлось недолго: из кабинета Трепова вышел подтянутый жандармский офицер и, начальствующим оком осмотрев публику, громко сказал:

— Господа дворяне, пожалуйста на правую сторону, а мещане и всякие прочие — на левую!

Публика быстро разделилась на две сословные группы, она, очевидно, привыкла к подобным отечественным порядкам. Отец и Лентовский стали на левую сторону, но бравый офицер, окинув их острым, пронизательным взглядом, процедил сквозь зубы:

— Послушайте, вы не эти самые, которые в Зоологическом саду?

— Эти самые.

— Ну, так идите за мной, его превосходительство вас ждет.

Когда отец и Лентовский вошли в кабинет, Трепов сидел за большим письменным столом и некоторое время не поднимал глаз. Лентовский не выдержал торжественной паузы и подошел вплотную к письменному столу.

— Ваше превосходительство,— сказал он,— мы — те самые, которые в Зоологическом саду.

— Знаю,— хмуро ответил Трепов и, не поднимая головы, продолжал:

— Я вызвал вас для того, чтоб поговорить с вами о вашей, гм... ну, о вашей политической лояльности, что ли. Господа, вы занимаетесь в Зоологическом саду политической пропагандой...

— Сказки Пушкина ваше превосходительство считает политической пропагандой? — спросил Лентовский.

— Вы их даете, господин Лентовский, под таким неподобающим соусом... Словом, я запрещаю продолжать ваши спектакли!

— Очень жаль,— уныло сказал Лентовский.

Трепов поднял голову и как-то особенно, по-инквизиторски посмотрел на отца.:

— Господин Дмитриев,— сказал он,— вы нам известны как исторический романист, человек, так сказать, не внушающий недоверия, неужель вы не нашли у Пушкина чего-нибудь другого

для своих инсценировок? Ну, скажем, можно инсценировать «Евгения Онегина» или хотя бы «Пиковую даму».

— На эти темы написаны оперы Чайковского, ваше превосходительство.

— Так что ж, а вы напишите не оперу. Вот на Девичьем поле, у Черепанова идет сейчас пушкинский «Мазепа»?

— Это тоже опера Чайковского.

— А у Черепанова не опера, там и поют и говорят. Советую посмотреть и поучиться.— Трепов позвонил, вошел знакомый уж нам жандармский офицер.— Иван Петрович,— сказал Трепов,— вот вам рапорт о спектаклях господина Лентовского, я написал на нем резолюцию!

Отец с Лентовским поклонились и вышли из кабинета. Некоторое время они угрюмо молчали, но жизнерадостный Лентовский, увидев по-весеннему распустившиеся деревья Тверского бульвара, громко рассмеялся.

— Трепов Треповым,— весело сказал он,— а весна весной, люблю природу, черт побери, а больше всего русскую березку. Когда я ставил в манеже «Снегурочку» Островского, у меня все деревья были березки.— Потом вздохнул и добавил: — Что ж, Савватеевич, было время — я учился у Михаила Семеновича Щепкина, теперь буду учиться у Черепанова, его превосходительство знает, что говорит.

Лентовский действительно когда-то был одним из любимых учеников М. С. Щепкина, но, не чувствуя большого влечения к актерской деятельности, он занимался почти исключительно режиссурой. Он в 1887 году основал в Москве народный театр «Скоморох», красноречивой маркой которого был крестьянский лапоть. Театр этот существовал недолго, широкие постановочные расходы Лентовского превысили его скромные доходы; в общем, Лентовский прогорел, но прогорел со славой, как полководец, выигравший сражение и пораженный последней пулей неприятеля.

В реквизите «Скомороха» почти не было бутафорских вещей, все было неподдельное и, конечно, дорогостоящее. Театру Лентовского очень подходили по своему характеру пьесы моего отца, рассчитанные на вкусы городской или крестьянской бедноты. Таковы были «Лиходейка-мачеха», пятиактная трагедия, написанная на мотив далекого новгородского предания, а также крестьянские пьесы «Мельник», «Желанная весточка» и др.

Не чуждался Лентовский и классиков. В Москве много говорили о постановке «Скоморохом» «Власти тьмы» Толстого. Случилось так, что эта замечательная пьеса шла одновременно у Лентовского и в Малом театре. Лев Николаевич посмотрел свою пьесу сначала на «императорской сцене», затем — в «Скоморохе». Пришел он туда инкогнито, заняв дешевое место, чуть ли не на галерке. Постановка скромного народного театра неожиданно понравилась ему больше

мастерского исполнения той же пьесы знаменитым Малым театром. Но когда Лев Николаевич захотел посмотреть свою пьесу в «Скоморохе» вторично, актеры, узнавшие о его присутствии в театре, сильно волновались, путали текст и в конце концов провалили пьесу. Лев Николаевич, уходя из театра, с мягкой улыбкой сказал Лентовскому: «На этом представлении все были нужны сегодня, кроме меня».

Возвращусь к рассказу о визите отца к Трепову.

Учиться у Черепанова отец, конечно, не стал, но его все же заинтересовало заявление Трепова о чествовании памяти Пушкина в дощатом балагане. Он взял меня с собой, и мы поехали на Девичье поле на патриархальной московской конке, неторопливо свершавшей свои рейсы с грохотом и звоном на всю улицу. Трамваев, автобусов или троллейбусов тогда не было. Все эти виды современного транспорта заменяли вышеупомянутая конка и примитивные «ваньки», извозчики в татарских халатах и странных головных уборах.

Теперь на Девичьем поле, против клиники первого МГУ, разбит чудесный парк, а в годы, о которых я пишу, там был огромный плац для праздничных народных гуляний: под унылые звуки шарманки кружились карусели, стремительно, со свистом качались качели, грохотали коляски на так называемых «Американских горах», стучали силомеры, но вершиной всех этих соблазнительных аттракционов были театральные или цирковые балаганы.

Мне было тогда 11 лет и, говоря по правде, я увлекался ими больше, чем знаменитыми московскими театрами. С благоговейным трепетом подошел я с отцом к балагану Черепанова и вслух прочитал большую, видную издалека, ярко намалеванную маляром афишу, в которой сообщалось, что «в театре господина Черепанова ежедневно дается опера «Мазепа», с песнями и плясками, а также со стрельбой из пушек и роковой страстью старика к молодой красавице, сочиненная юбиларом А. С. Пушкиным. Роль злодея старика исполняет всемирно известный артист Богатырев».

Отец на другой день сфотографировал афишу и передал этот снимок в Вахрушинский театальный музей.

Нечего, конечно, и говорить, как был поражен отец выступлением в балагане прекрасного артиста, с большим успехом исполнявшего два года назад ответственные партии в Большом театре. Лично я не разделял его удивления и не находил ничего особенного в выступлениях Богатырева в дощатом балагане. У входа в «храм искусства» отец вызвал Черепанова. Антрепренер был очень польщен посещением его театра сотрудником московской периодической печати и торжественно посадил нас в первом ряду.

Опера еще не началась, и многочисленная публика, весело теснясь на скамьях, лущила подсолнухи, щелкала орехи, кое-кто громко переругивался. Оркестр из пяти или шести музыкантов, по всем

данным, не чуждался соблазнов всемогущего Бахуса. На размалеванном занавесе была изображена традиционная «бита русских с кабардинцами»: лихо скакали казаки с вытаращенными глазами и обнаженными шашками, трусливо бежали горцы, рвались гранаты, рекой лилась кровь, художник не пожалел на нее ярких красок.

Я с гордостью подлинного ценителя искусств посмотрел на отца, мне казалось, что и он должен быть восхищен этим необыкновенным зрелищем. Но отец, к моему удивлению, сидел, уныло опустив голову, о чем-то глубоко задумавшись.

На авансцену вышел администратор и громко сообщил публике, что «по не зависящим от дирекции обстоятельствам вместо «Мазепы» в театре пойдет опера господина Рубинштейна «Демон». Поздней мы с отцом узнали, что часть труппы, пропившая выданный ей гонорар, потребовала у дирекции аванса. Получив отказ, актеры демонстративно забрали реквизит «Мазепы» и ушли к другому театральному предпринимателю, на Пресню, там в эти годы также проводились широкие народные гулянья с балаганами, качелями и пр.

Публика черепановского балагана осталась недовольна заменой, слышались негодующие голоса:

— Никаких чертей, давай пушечную стрельбу, давай старика с молодой красавицей!

Администратор сообщил, что в «Демоне» также будет стрельба, а что касательно старика с красавицей, то почтеннейшая публика увидит сейчас сатанинскую любовь к юной монашке, самое интересное зрелище во всех театрах мира да еще с участием Богатырева.

«Почтеннейшая публика» выжидательно затихла, снова защелкали орехи и подсолнухи. Наконец, торжественно раздвинулся занавес, и опера началась. Я не буду рассказывать здесь о жестокой расправе Черепанова с бессмертным текстом Лермонтова и музыкой Рубинштейна. Его актеры частью пели, частью декламировали, но все они ничуть не считались ни с Лермонтовым, ни с Рубинштейном. В том же духе вел свою партию и знаменитый Богатырев, он беспощадно напрягал остатки своего когда-то бархатного голоса, чтоб заглушить щелканье орехов, но это ему плохо удавалось, и артист, игнорируя Рубинштейна, иногда переходил на скверную декламацию лермонтовских стихов. Все это было настолько грустно, что в конце концов померкло и мое благоговение к черепановскому «храму искусств».

В антракте мы пошли за кулисы и нашли там Богатырева. Он сидел в темном углу, обхватив голову обеими руками.

— Голубчик, — возбужденно сказал мой отец, — как вы попали сюда?

— Вы хотите сказать, «как дошел я до жизни такой»? — криво усмехаясь, спросил Богатырев. — Мельпомена — причудливая богиня, мой дорогой, иногда у нее бывают такие злые капризы...

И артист рассказал, как у него три года назад в итоге какого-то

большого нервного потрясения начал пропадать голос. Вначале он надеялся, что это пройдет, что врачи вылечат его, но катастрофа приближалась с роковой быстротой... «Двадцать три года проработал я на казенной сцене,— рассказывал Богатырев дрогнувшим голосом,— двадцать три года, всего два года осталось до пенсии, а голос исчез, понимаете, совершенно исчез! Вы сами слышали сейчас, как я хрипел... Ну, разве такой певец нужен императорской сцене? Меня взяли за шиворот и выбросили на улицу, отчислили из труппы».

В этот момент к нам подошел Черепанов, его антрепренерские глаза глядели сейчас сострадательно и кротко.

— Да-с, господин Дмитриев,— сказал он,— взяли и уволили знаменитого певца, а я пригрел его, насколько мог... Талант, понимаете, вершиной вершин когда-то был...

— Слушайте, Черепанов,— резко обратился к нему отец,— зачем вы профанируете искусство? Ведь вы не балаганный предприниматель, а театральный режиссер!

— Ну, конечно, в московском «Аквариуме» труппу имел, «Горе от ума» ставил, «Ревизора»...

— Так зачем же вы...

Черепанов не дал ему договорить, широким актерским жестом он указал на свою пеструю публику, на размалеванный занавес, на афишу и решительно сказал: «Все это, господин Дмитриев, дает мне хлеб насущный, полную, можно сказать, кассу, а в «Аквариуме» мои актеры играли «Горе от ума» в пустом, нетопленном зале, судебный пристав все мое имущество тогда описал за неуплату театральных долгов!

Я знаю, вы теперь изругаете меня в газете, что ж, ругайте, Черепановы на то и существуют, чтоб их ругали, только публику у меня не отобьете, ее сначала просветить надо, грамоте обучить, а потом уж в Малый театр приглашать, вот что-с!»

Богатырев поднял голову и силло продекламировал:

Эх, эх, придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Черепанов был прав: царское правительство намеренно держало в темноте свой народ, и в то время как петербургская или московская

знать развлекалась знаменитыми итальянскими гастролерами, народу преподносили пестрые балаганы с опустившимися актерами и специфическим репертуаром.

Характерно, что балаганы продержались в Москве почти до Февральской революции, причем ночью их сторожили сами актеры, закутавшись в дешевые бутафорские мантии и плащи своих примитивных костюмерных. Следует сказать, что подгулявшая московская публика, возвращаясь ночью из многочисленных питейных заведений, избегала проходить через Девичье поле, так как балаганные «сторожа» нередко обирали запоздавших гуляк.

Через несколько дней после разговора отца с Богатыревым в «Новостях дня» появился большой фельетон отца о печальной судьбе знаменитого артиста. Кончилось богатыревское дело неожиданным образом: дирекция императорских театров разрешила певцу допеть в качестве хориста не хватавшие ему до пенсии два роковых года. Бедному артисту не пришлось, однако, воспользоваться милостью высокопоставленных чиновников: осенью того же года, заканчивая свой контракт с Черепановым, Богатырев простудился в холодном балагане и умер на больничной койке, предназначавшейся для бездомных бродяг.

Долго продолжались в Москве торжественные пушкинские дни. Москвичи, казалось, хотели заглушить свое гражданское бесправие восторженным чувством великого певца свободы. Сановный Петербург почувствовал эти «опасные тенденции» и неофициально, под разными надуманными предлогами, прекратил юбилейную «пушкинаду».

Не могу умолчать о своих встречах в эти дни с сыном поэта, генералом А. А. Пушкиным. Этот высокий, худощавый старик, с ясными пушкинскими глазами, каждый день приходил к памятнику своему отцу на Тверском бульваре и подолгу сидел там, любезно отвечая на приветствия проходивших москвичей. С ним здоровались все, и знакомые и незнакомые.

Пошел однажды и я поздороваться с А. А. Пушкиным, проделав для этого длинный и «опасный» путь от Грузин до Тверского бульвара, опасный потому, что по дороге мне пришлось выдержать не одно столкновение с «уличными мальчишками», главным образом подмастерьями мелких ремесленников. Но вот я на Тверском бульваре. На скамье, у заветного памятника, действительно сидел старый генерал, задумчиво опершись подбородком на старинную трость. Я подтянулся и браво прошел мимо него, почтительно сняв свою форменную фуражку. Генерал приподнял голову и козырнул мне. Я еще раз прошел и снова снял фуражку, снова козырнул и генерал. Дипломатически выждав некоторое время, я в третий раз направился к памятнику, но А. А. Пушкин заметил мои трюки и пальцем подозвал меня к себе.

— Почему тебе нравится со мной здороваться? — спросил он, глядя на меня смеющимися глазами.

— Я... я здоровался с вами только один раз... — смущенно пролепетал я.

— Нет, не один, а три раза и собирался четвертый раз поздороваться.

— Я хотел вас лучше запомнить.

— Ну и что же, запомнил?

— Запомнил. Вы не похожи на Александра Сергеевича: вы старый, а он молодой.

Генерал засмеялся.

— Ну, брат, — сказал он, — с этим ничего не поделаешь, иногда и сын бывает старше своего отца.

Отвечая на приветствия прохожих, он спросил, читал ли я «Капитанскую дочку» и что вообще мне нравится больше всего из произведений Пушкина. В конце концов у нас с генералом завязалась оживленная беседа, памятная мне до настоящих дней.

Дома, конечно, я ничего не сказал о своем необычайном знакомстве, так как выходить за пределы двора мне строго запрещалось.

На следующий день я опять отправился на Тверской бульвар. Генерал уж сидел там, и мы поздоровались, как «старые знакомые». Так продолжалось несколько дней подряд. В конце концов я и сам стал отвечать вместе с А. А. на приветствия прохожих.

В общем, все шло хорошо, только, увлеченный своим новым знакомством, я забыл об осенней переэкзаменовке, которая как дамклов меч висела над моей головой. Однажды я признался в этом А. А. Пушкину. Он некоторое время задумчиво молчал, потом достал из кармана маленький металлический жетон с портретом своего отца и передал его мне. «Завтра не приходи сюда, — сказал А. А. Пушкин, — ты слишком много теряешь времени для путешествий на Тверской бульвар, а время для тебя сейчас дорого. Как ни грустно, мой друг, а готовиться к экзамену надо. Возьми этот медальон в знак нашей разлуки».

Больше я не встречал А. А. Пушкина, он, кажется, куда-то уехал из Москвы <...>

<...> В 1902 году в Большом театре дебютировала высокая, несколько даже громоздкая артистка, очень скромно одетая, с типичной внешностью сельской учительницы. Это и была учительница, ставшая впоследствии знаменитой певицей с мировым именем. Звали ее Антонина Васильевна Нежданова. Тонкий мастер вокального искусства, профессор Московской консерватории Мазетти, услышав ее пение на каком-то незначительном концерте, предложил Антонине Васильевне брать у него уроки пения. Это было тогда большой честью для скромной учительницы, так как к профессору Мазетти попадали только избранные ученики консерватории, обладавшие несомненным даром вокального искусства.

Долго и самоотверженно работала Антонина Васильевна над своим необычайно красивым колоратурным сопрано под руководством знаменитого маэстро. Впоследствии она лично говорила мне, что у нее не было почти никакой веры в себя в эти учебные годы, что иногда ей казалось даже, будто она напрасно бросила свою прежнюю скромную профессию школьного педагога. Я, конечно, не разделял скептицизма Антонины Васильевны.

Мне казалось, что ее просто пугал тогда пышный блеск «императорского» театра, с его сановной партерной публикой, вечно брюзжавшей, вечно недовольной выступлением всякого робкого дебютанта, да еще отечественного происхождения. Я сказал об этом как-то Антонине Васильевне, и она, мило улыбнувшись, ответила: «Возможно, вы правы, я даже сейчас боюсь бархатной громады Большого театра, его прекрасного оркестра и пышной публики, направляющей свои бинокли на мою скромную физиономию».

Интересно отметить, что Антонина Васильевна, как и Л. В. Собинов, вообще ценили не фразных завсегдатаев партера, а своих молодых поклонников, так называемых «верхотурников»: студентов, курсисток, гимназистов, гимназисток, реалистов, мелких служащих, молодых рабочих и пр.

Подобные демократические вкусы были, впрочем, не только у Собинова и Неждановой; многие знаменитости того времени, подходя к рампе на шумные овации публики, кланялись прежде всего не разряженному партеру, а восторженно бушевавшей галерке. Иначе смотрел на своих поклонников знаменитый петербургский тенор, первый исполнитель роли Германа в «Пиковой даме» Чайковского в 1890 году, Н. Н. Фигнер. Он не разделял в этом отношении демократических вкусов своих коллег.

Подходя к рампе, он кланялся прежде всего партеру и ложам нижних ярусов, где сидели декольтированные красавицы петербургского «бомонда», грациозно хлопавшие ему холеними руками, затянутыми в белые, до самых локтей, лайковые перчатки.

Аристократическое происхождение Фигнера сказало даже в его внешнем облике — он считал, что бритые физиономии присущи только лакеям и драматическим актерам; знаменитый певец никогда не брил ни усов, ни маленькой эспаньолки на подбородке, искусно заклеивая их в случае необходимости, при исполнении той или иной роли.

Что касается Антонины Васильевны Неждановой, она не только по своему скромному происхождению, но по глубокой убежденности была слишком далека от всякой аристократической замкнутости. В ореоле ее славы к ней, как к «земле обетованной», потянулись обездоленные учительницы того далекого времени. Кто просил ее содействовать в переводе из одной школы в другую, кто искал ее заступничества, а кто вообще просил ходатайства о предоставлении школьной работы.

Антонина Васильевна никому не отказывала в своей протекции, и в конце концов член городской управы, ведавший школьными делами Москвы, некий Пузыревский, заключил с ней в письменной форме шуточный договор, по которому Антонина Васильевна обязывалась не просить у него ни за одну учительницу, а Пузыревский, со своей стороны, обязывался не приглашать ее ни на один из благотворительных концертов. Нечего, конечно, и говорить, что мягкое, отзывчивое сердце Антонины Васильевны не могло примириться с таким договором, и она по-прежнему продолжала осаждать Пузыревского своими ходатайствами, не приходилось и Пузыревскому слишком долго упрашивать ее о выступлении с ней в том или ином благотворительном концерте, особенно в пользу учащейся молодежи. Знаменитая артистка охотно выступала на них, не жалея ни своих сил, ни своего замечательного голоса.

Я особенно хорошо узнал ее в годы, предшествовавшие Октябрьской революции, когда я состоял заведующим отделом сейфов крупнейшего частного банка, находившегося в центре московского «сити», на Ильинке, ныне улице Куйбышева. Антонина Васильевна несколько лет была моей клиенткой, и, как опытный банковский клерк, я с первых же дней наших деловых взаимоотношений почувствовал ее трогательное бескорыстие, такое редкое в кипучей банковской атмосфере.

Не с одной А. В. Неждановой суждено было встретиться мне в Московском купеческом банке. Моими клиентами были Собинов, Шаляпин, Станиславский, Д. Смирнов, Гельцер, художники братья Васнецовы, Нестеров, отец русской авиации Н. Е. Жуковский и много, много других ярких звезд нашего родного искусства и нашей науки, но о них я напишу в дальнейших главах своих воспоминаний, сейчас же мне хочется сказать несколько слов о появлении в Москве гениального Шаляпина.

Следует отметить, что в Москве до середины 90-х годов не было частной оперы, Москва довольствовалась в этом отношении редкими гастролями Киевской оперы Прянишникова, любимца П. И. Чайковского. В начале 90-х годов Чайковский возбудил ходатайство о разрешении Прянишникову вообще перебраться со своей оперой в Москву, но на его пути встал знаменитый меценат Савва Иванович Мамонтов, также хлопотавший об открытии в Москве частной оперы.

В начавшейся ведомственной борьбе победил Мамонтов. Первым директором его оперы был мой «крестный отец» Н. Н. Саедов. Я до сих пор помню его разговор с моим отцом о том, что оперу Мамонтов открыл фактически для своей фаворитки, некой Любатович, прекрасной исполнительницы партии Аиды в одноименной опере Верди. Конкурируя с Большим театром, Мамонтов заплатил осенью 1896 года петербургскому Мариинскому театру неустойку в 15 тысяч рублей за переход к нему молодого певца Шаляпина.

Однажды Н. Н. Саедов пригласил мою мать со всеми ее «млекопитающими» на утреннее представление «Майской ночи», с участием в маленькой роли Каленика Федора Шаляпина.

— Федя,— сказал он,— подает большие надежды, его стоит послушать.

К сожалению, мне было тогда около 10 лет, и я больше заинтересовался таинственными русалками, чем Шаляпиным; впрочем, я все же обратил внимание на пьяное поведение Каленика: «Совсем как настоящий»,— сказал я матери. В нашем семейном архиве долго хранилась театральная афиша этого знаменательного в моей жизни спектакля.

С. И. Мамонтов не жалел денег ни на что в своем театре: ни на артистов, ни на оркестрантов, ни на декорации; даже программы в его театре были необыкновенные, они вкладывались в изящную продолговатую папку с изображенным на ней в красках старинным гуслиром. Стоила эта программа 5 копеек.

Переманив Шаляпина в Москву, Мамонтов почувствовал себя Колумбом, открывшим Америку, он стал слишком придирчиво руководить огромными данными Шаляпина, требовал от него беспрекословного повиновения во всем и т. д. Это не понравилось гениальному певцу, и в конце концов он перешел в Большой театр.

«Коварная измена артиста» настолько потрясла Мамонтова, что он, по словам Н. Н. Саедова, завещал, чтоб в случае его смерти Шаляпин не был допущен к его гробу.

После ухода Шаляпина дела частной оперы заметно пошатнулись. Не повезло Мамонтову и со строительством Ярославской железной дороги, на которую сильно рассчитывал предприимчивый коммерсант. В итоге этих неудач он был объявлен банкротом, а его опера, после огромного по тому времени дефицита — в сорок тысяч рублей, перешла к Солодовникову.

Наша семья жила в это время на даче, близ Сергиевского посада, в десяти километрах от знаменитого мамонтовского «Абрамцева». И вот однажды, когда мы с отцом садились на Ярославском вокзале в скромный зеленый вагон третьего класса, чтоб ехать на дачу, отца неожиданно взял под руку какой-то очень почтенный, с моей точки зрения, человек.

— Э, батенька,— сказал он,— разве историческим романистам полагается ездить в третьем классе? Идемте-ка в мой вагон!

Это был С. И. Мамонтов. Он посадил нас в свой роскошный салон-вагон, и у отца тотчас же началась с ним самая оживленная беседа. Мамонтов стал жаловаться на директора своей оперы Н. Н. Саедова, разбазарившего неизвестно куда сорок тысяч рублей, на своих безжалостных кредиторов, на Коммерческий Суд и больше всего на «неблагодарного Шаляпина».

— Подумайте, господин Дмитриев,— говорил негодующий Мамонтов,— я поднял его на поверхность жизни, я лично проходил с ним его партии, я создал ему славу, а он... Дальше следовал каскад самых горьких обвинений по адресу Шаляпина. Отец сочувственно покачивал головой, даже поддакивал ему, хотя подлинным учителем Шаляпина он всегда считал композитора С. В. Рахманинова, а не Мамонтова.

Финансовое банкротство, моральное разочарование в близких людях — все это губительно отразилось на крепком здоровье знаменитого мецената. В итоге в начале 90-х годов он умер от какой-то тяжелой сердечной болезни.

После смерти Мамонтова отец купил вместе с прекрасными шкафами из черного дерева небольшую часть его замечательной, уникальной библиотеки. Здесь были собраны редчайшие по тому времени книги в массивных кожаных переплетках. В первые годы Октябрьской революции мать продала эти книги историко-филологическому факультету Московского университета, но у меня до сих пор есть небольшой книжный шкаф из этой интересной библиотеки, время оказалось слабей драгоценного черного дерева.

Не была сплошным триумфом вопреки сложившемуся мнению и ранняя деятельность самого Шаляпина, перешедшего от Мамонтова в Большой театр. Демократическое происхождение великого артиста, его своеобразный характер пришлось не по душе буржуазной публике «императорской оперы». Крупная консервативная газета того времени «Московские ведомости» в угоду реакционным вкусам своих читателей стала развенчивать Шаляпина, критиковать его при каждом удобном случае, а когда в 1902 году в Большой театр был принят прекрасный бас В. Р. Петров, «Московские ведомости» возглавили «крестовый поход» против Шаляпина, объявив Петрова певцом более высокого калибра.

Скромный, чуждый всякого честолюбия, Петров испугался подобной рекламы, он пришел в театр из «послушников» московского Богоявленского монастыря и не мечтал о слишком больших театральных лаврах.

— Где мне угоняться за Шаляпиным,— говорил он,— по словам моего отца, да и вообще по слухам, ходившим в Москве,— Шаляпин — это жар-птица, андерсеновский соловей, а я всего «аллилуйник»! <... >

Говоря о Большом театре, нельзя обойти молчанием его знаменитый балет, блиставший своими крупными талантами на рубеже двух столетий. Я был тогда, правда, плохим балетоманом, меня больше интересовали уличные шарманки с вековыми «Петрушками», но все же и мне пришлось кое-что видеть и слышать в этом направлении. Я помню, например, все обстоятельства трагической судьбы молодой прима-балерины Рославлевой. Ее ранняя смерть долгое время была злобой дня московской общественности.

Училась Рославлева в гимназии хорошей знакомой моей матери, некоей Перепелкиной. Одновременно гимназистка брала уроки хореографического искусства. Попад в Большой театр по окончании гимназии, Рославлева очень быстро, в течение двух или трех сезонов стала московской знаменитостью.

Перепелкина вместе с моей матерью, иногда даже со мной посещала ее выступления в том или ином балете и всегда подносила своей бывшей ученице большую корзину живых цветов.

И вот однажды, когда мы приехали на балет «Лебединое озеро», в котором предполагалось выступление Рославлевой, на авансцену перед началом спектакля вышел администратор и сообщил, что «по болезни госпожи Рославлевой ее роль будет исполнять какая-то другая балерина». Перепелкина пошла за кулисы узнать, что случилось с ее бывшей воспитанницей, и скоро вернулась в ложу бледная и расстроенная. Она пошептала с матерью, мать взволнованно встала и сказала мне:

— Коля, возьми корзину цветов и иди за нами; Саша поможет тебе. Юный гимназистик Саша Захаров был другом моего раннего детства. Я был недоволен таким оборотом дела.

— Куда пойдем? — пробурчал я.

— На квартиру Рославлевой.

— Вместе с цветами?

— Да, вместе с цветами.

По дороге я узнал, что хворавшая туберкулезом Рославлева неожиданно захлебнулась ночью кровью и умерла. Итак, мы ехали с театральными цветами к покойнице. Это показалось мне хоть и грустно, но романтично. Саша был того же мнения, но когда мы увидели юную балерину, такую прекрасную и такую трогательную на своем смертном ложе, корзина задрожала в наших руках, и мы уронили цветы на пол. На это, впрочем, никто не обратил внимания.

Я подробно остановился на трагической смерти девятнадцатилетней балерины потому, что ей предсказывали блестящую будущность, сравнивали ее со знаменитыми звездами европейского балета, а московская молодежь в страстных спорах о ее таланте доходила даже до дуэлей <...>

В яркой истории «казенных» театров оригинальное место занимали так называемые «царские спектакли», проводившиеся в «дни тезоименитства» их императорских величеств — царя и царицы. Все три «казенных театра» — Большой, Малый и Новый (ныне Центральный детский театр) бесплатно предоставляли в эти дни свои места учащейся молодежи, однако и здесь ощутимо чувствовалось социальное неравенство существовавших тогда классов: партер и нижние ярусы театров предоставлялись высшей школьной администрации и учащимся привилегированных учебных заведений, а верхние ярусы и так называемая «галерка» предназначались для железнодорожных

и ремесленных школ, а также для городских училищ, иначе говоря, для детей московской бедноты. Я учился в это время в одном из окраинных городских училищ и в силу этого обстоятельства неизменно занимал последний ряд галерки вместе с прочими вихрастыми мальчишками моего возраста.

Сцены нам оттуда почти не было видно, зато, подойдя к перилам своего яруса, мы с завистливым восхищением любовались ярким букетом московских институток, занимавших пышные ложи нижних ярусов, завидовали мы и торжественно подтянутым кадетам и фатоватым лицеистам,— все они сидели в бархатных креслах нижних ярусов, чинные и важные, похожие, как нам тогда казалось, на самих генералов. У них были не только программы, но даже бинокли.

В антрактах они с любопытством разглядывали друг друга, иногда поднимали головы и на нас, насмешливо, почти презрительно. Мы со своей стороны незаметно для нарядных театральных капельдинеров показывали им кулаки.

Выше я сказал, что нам с галерки почти не было видно сцены, следует, впрочем, добавить, что репертуар «царских спектаклей» был настолько несуразен для детского возраста, что у нас не было к нему ни малейшего интереса.

Большой театр ставил, например, в эти дни главным образом какие-нибудь балеты, а Малый и Новый театры — слащавые пьесы чуждых нам второстепенных немецких авторов: «Друг Фриц», «Золотая Ева» и т. п.

В итоге нас интересовали не спектакли, а «подарки», раздававшиеся капельдинерами в фойе по предъявлении нами театрального билета. В этот подарок входили такие вкусные вещи, как два больших яблока, апельсин и пятикопеечная плитка популярного «абрикосовского» шоколада. Получив заветный подарок в изящном бумажном пакетике, мы с трудом досиживали последний акт спектакля, чтоб всей гурьбой идти на более интересное для нас зрелище: кавалерийский променад дряхлого гусара «николаевского» времени, графа Олсуфьева.

Променад торжественно проделывался в этот день на асфальтированном дворе графского особняка и заключался в следующем: два пышных ливрейных лакея выводили из конюшни породистого арабского коня и подходили с ним к массивным дубовым дверям особняка. Вслед за этим двери особняка широко распахивались, два других ливрейных лакея подводили к коню трясущегося от старости сиятельного гусара в полном парадном обмундировании давно минувшего времени, покрашенного и напوماженного. Два лакея почтительно усаживали графа в седло, а два ливрейных конюха брали коня с двух сторон под уздцы и кругами водили его по двору. Граф сидел, лихо подбоченившись, довольно поглядывая на многочисленных мальчишек, вскарабкавшихся на чугунную изгородь особняка. Дворникам не разрешалось гнать нас в этот момент, и мы, веселые и радостные, громко кричали «ура», когда граф проезжал мимо нас. Это представление нравилось нам больше «царских спектаклей», и мы

отдавались ему всей своей жизнерадостной мальчишеской душой, проделывая иногда для этого несколько верст пути.

В заветном для нас особняке графа Олсуфьева помещается сейчас Союз советских писателей, изменилось и самое название улицы: до Октябрьской революции она называлась Поварской, а теперь ей присвоено имя В. В. Воробьева.

Технические достижения старой России также привлекали наше детское внимание и служили предметом развлечений для нас. Конка была олицетворением этих достижений для меня (вагон, который катили по рельсам лошади, впряженные в него). Чудом техники были редкие вначале велосипеды, с огромным, чуть ли не в рост человека, передним колесом и очень маленьким задним. Но апофеозом технической мысли для нас были «синемаграф» и «фонограф», или, как теперь их называют, «кинемаграф» и «граммофон», позднее замененный патефоном.

Я присутствовал на одном из первых сеансов синемаграфа, который предприимчивый Ф. А. Корш показывал в своем театре изумленной публике. Это было нечто очень далекое от современного кинематографа: свет на экране все время мигал, лента обрывалась.

Что касается фонографов, их демонстрировали тогда в специальных ателье, причем граммофонной трубы и громкого звука не было, публика слушала передаваемую программу в телефонные трубки, соединенные длинным шнуром с «таинственным» аппаратом. На Смоленской площади, где мне впервые пришлось слушать фонограф, много было восторгов и почтительного изумления перед чудесным гением Эдисона.

Однажды, когда отец со своими гостями разрешал тысячи неразрешенных общественных проблем, в дверь шумно вошли В. А. Гиляровский и В. М. Дорошевич. Гиляровский, по своему обыкновению, сейчас же начал выкладывать московские новости и сказал, между прочим, что городская Дума решила провести от Страстного монастыря до Бутырской заставы первую трамвайную линию в Москве по типу киевского трамвая. Затем сообщил также, что банкир Рябушинский купил за границей так называемый «автомобиль»; в конце XIX и начале XX века в России впервые появились не только синемаграф и фонограф, но и трамвай и автомобиль.

Первые впечатления о Художественном театре у меня складывались в детстве по разговорам взрослых: однажды Невежин, сидя у нас за чайным столом, обратился к отцу и драматургу Чаеву, бывшему также у нас: «Молодой Станиславский творит чудеса в своем юном театрике. А А. П. Ленский лично сказал мне, что у этого купеческого сынка режиссерские сапоги-скороходы. Его «Царь Федор Иоаннович» — вершина театрального искусства».

Мне особенно запомнился этот разговор потому, что мой «крестный» Н. Н. Саедов выпустил в виде приложения к журналу

«Развлечение» художественный альбом «Царь Федор Иоаннович» в постановке «Московского общедоступного художественного театра». Красочные гравюры этого альбома были исполнены хорошими художниками, и я каждый день рассматривал их, часто за счет приготовления своих школьных уроков.

Этот прекрасный театр недолго оставался «общедоступным». Через три или четыре года после его основания попасть на какую-либо постановку Художественного театра стало несбыточной мечтой, на его кассе всегда был роковой для москвичей аншлаг: «Все билеты проданы». Соответственным образом изменилось и название театра, из него вычеркнули эпитет «общедоступный».

Интересно, что при возникновении этого полудилетантского в то время театра мало кто верил в его огромные творческие силы. Даже брат одного из основателей театра, популярный писатель того времени Василий Иванович Немирович-Данченко, печатно просил не смеивать его с режиссером Художественного театра Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Свой писательский пьедестал он ставил, очевидно, выше режиссерских замыслов соратника Станиславского — Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Жизнь, однако, показала, как ошибался писатель.

В конце прошлого века в Москве открылся еще один частный театр, антрепренером которого была некая Бренко, передавшая впоследствии свое дело Ф. А. Коршу, первоначально снимавшему у нее так называемую «вешалку».

Антрепренерские идеалы Корша были прямо противоположны идеалам Лентовского. Насколько последний не жалел денег на свои постановки, настолько Ф. А. Корш был расчетлив и, мягко выражаясь, экономен. На постановку некоторых новых пьес он затрачивал в буквальном смысле слова несколько рублей. Это не мешало, однако, его театру приобрести широкую популярность среди московской публики благодаря умелому подбору актеров, многие из которых вошли в историю русского театрального искусства. Таковы были Писарев, Давыдов, Горев, Иванов-Козельский, Андреев-Бурлак, позднее Смирнова, Влюменталь-Тамарина, Вязовский, Сашин и другие.

Ф. А. Корш вылавливал их главным образом из глухой провинции, куда он ежегодно выезжал с каким-нибудь из своих режиссеров. Редко случалось, чтоб привезенный им актер не заинтересовывал своим дарованием московскую публику, настолько Ф. А. был опытен в распознавании актерских дарований.

Моя мать до конца своих дней вспоминала замечательное исполнение в театре Корша Андреевым-Бурлаком произведения Гоголя «Записки сумасшедшего». По ее словам, это была потрясающая игра, зрители переставали сознавать в этот момент, что они находятся в театре, так реально была игра талантливого актера. Во время исполнения им «Записок сумасшедшего» дамы нередко падали в обморок <... >

Были в Москве и другие частные театры, но рассказ о них потребует новых глав.

Составитель В. Дмитриева
Николай Дмитриевич ДМИТРИЕВ

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Редактор В. П. Енишерлов

Техн. редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 05.02.85
Подписано к печати 27.03.85. А 00346.
Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная.
Гарнитура «Школьная». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,18.
Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз.
Изд. № 860. Зак. № 208.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва А-137, ул. «Правды», 24.

Государственный внутренний выигрышный заем 1982 года

● Государственный внутренний выигрышный заем 1982 года выпущен сроком на 20 лет — с 1 января 1982 года до 1 января 2002 года.

● Облигации займа свободно продаются и покупаются сберегательными кассами, доход по ним выплачивается в форме выигрышей.

● Облигации займа выпущены достоинством в 50 и 25 руб. Выигрыши установлены в размере 10 000, 5000, 2500, 1000, 500, 250 и 100 руб. на пятидесятирублевую облигацию, включая нарицательную стоимость облигации (по облигациям достоинством в 25 руб., являющимся половиной пятидесятирублевых облигаций, выплачивается половина выигрыша).

● Владелец выигрыша в 10 000 руб имеет право на внеочередную покупку автомобиля «Волга» или легкового автомобиля аналогичного класса, а выигрыша в 5000 руб. — автомобиля другой марки класса ниже. Разница между стоимостью автомобиля и суммой выигрыша вносится владельцем выигравшей облигации.

● В течение двадцатилетнего срока займа проводится 160 тиражей выигрышей, по 8 тиражей ежегодно в следующие сроки: 15 февраля, 30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 августа, 30 сентября, 15 ноября и 30 декабря. Находящиеся у населения облигации Государственного 3-процентного внутреннего выигрышного займа 1966 года по-прежнему участвуют в тиражах выигрышей, которые будут проводиться в те же сроки до истечения действия займа (до 1 июля 1986 года) и свободно покупаются сберегательными кассами.

● После проведения 30 июня 1986 года последнего тиража по займу 1966 года владельцам облигаций предоставляется право до 1 июля 1987 года обменять их в сберегательных кассах на облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года на льготных условиях, т. е. без уплаты курсовой разницы.

**Российское республиканское
Главное управление
Гострудсберкасс СССР**